

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Да пребудет вечно (публицистика)  
Виктор Петрович Астафьев

"Всю правду знает только народ", - сказал другой военный журналист, честно выполнявший свой долг на фронте и в литературе, Константин Симонов, никогда, кстати, и нигде не настаивавший на том, что главной ударной силой на фронте были военные журналисты, и мне, в личной беседе незадолго до смерти, говоривший даже о "перекосе", случившемся в нашей военной литературе из-за того, что большинство книг о войне написано бывшими журналистами. ...

Астафьев Виктор Петрович

Да пребудет вечно (публицистика)

Виктор Астафьев

Публицистика. Сборник "Да пребудет вечно"

Там, в окопах

Воспоминания солдата

О войне? А что я о ней знаю? Все и ничего. Я был рядовым бойцом на войне и наша, солдатская правда, была названа одним очень бойким писателем "окопной"; высказывания наши - "кочкой зрения". Теперь слова "окопная правда" воспринимаются только в единственном, высоком их смысле, автор же презрительных изречений, сражавшийся на фронте в качестве корреспондента армейской газеты, и потом, после войны, не переставал "сражаться" - писал ежегодно по злободневному роману, борясь за ему лишь ведомую "правду", бросал гневные слова с трибун, обличал недозревшую нашу литературу, много употреблял все слов чистых и святых, все чего-то гневался, дергался, орал. Но время - судья беспристрастный и беспощадный. Двадцать лет минуло со дня кончины неутомимого "борца", а он уже как в воду канул, голоса его "патриотических" речей не слышно, как и топорно писанных "патриотических" книг не видно - забыты.

"Всю правду знает только народ", - сказал другой военный журналист, честно выполнявший свой долг на фронте и в литературе, Константин Симонов, никогда, кстати, и нигде не настаивавший на том, что главной ударной силой на фронте были военные журналисты, и мне, в личной беседе незадолго до смерти, говоривший даже о "перекосе", случившемся в нашей военной литературе из-за того, что большинство книг о войне написано бывшими журналистами.

Итак, "всю правду знает только народ", - вот, как малая частица этого многотерпеливого, многострадального и героического народа, стану и я вспоминать правду, свою единственную, мной испытанную, мне запомнившуюся, окопную, потому что другой-то я и не знаю.

Воевал я в 17-й артиллерийской, ордена Ленина, Суворова, Богдана Хмельницкого, Красного Знамени, дивизии прорыва, входившей в состав 7-го артиллерийского корпуса основной ударной силы 1-го Украинского фронта. Корпус был резервом Главного командования. Начал он создаваться вместе с другими артиллерийскими соединениями подобного характера по инициативе крупных специалистов артиллерии, каковым был и командир нашей дивизии Сергей Сергеевич Волкенштейн, потомственный артиллерист, человек, крупный не только телом - фигурой, но и натурой, человек с совершенно удивительной биографией, вполне пригодной для захватывающего дух детективного романа. Жаль, что я не умею писать детективы. Так вот, дивизии прорыва, к удивлению, и не только моему, начали создаваться, когда враг был еще у стен Москвы.

В начале 1942 года 17-я артиллерийская дивизия приняла боевое крещение на Волховском фронте. Я тогда еще учился в школе ФЗО, приобретал железнодорожную

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
профессию и, как говорится, "ни ухом ни рылом" не ведал о существовании  
подобного военного подразделения, точнее – соединения, а будущий командир "моей"  
дивизии в это время не где-нибудь, а в Красноярске сдавал благополучно им  
эвакуированное Киевское артиллерийское училище, которым какое-то время он  
командовал.

Вот именно – соединения! В состав дивизии входили все системы орудий и  
минометов, имевшихся на вооружении Красной Армии – от 120-миллиметрового  
миномета и до 203-миллиметровой гаубицы. Только истребительных, противотанковых  
полков и бригад в дивизии было шесть. Несколько полков и бригад среднего калибра  
и большое количество орудий – полуторасоток, совершенного, новейшего по тому  
времени образца. Одна дивизия такого характера и масштаба обладала огромной  
ударной и разрушительной силой, а ведь в состав 7-го артиллерийского корпуса  
входило две, затем три дивизии: 17-я, 16-я и 13-я. После объединения  
Воронежского и Степного фронтов в 1-й Украинский не раз и не два артиллерийские  
подготовки и прорывы осуществлялись 7-м артиллерийским корпусом с приданным и  
ему реактивной артиллерией и вспомогательной артиллерией стрелковых и танковых  
частей.

Первый прорыв наш корпус делал на Брянском фронте, во фланг Курско-Белгородской  
дуги. И когда "началось!", когда закачалась земля под ногами, не стало видно  
неба и заволочло противоположный берег Оки дымом, я, совершенно потеряв  
"рассужденье", подумал: "Вот бы мою бабушку сюда!.." Зачем бабушку? К чему ее  
сюда? – этого я и по сию пору объяснить не сумею. Очень уж бабушка моя любила  
меня вышутить, попугать, разыграть, так вот и мне, видать, тоже "попугать" ее  
захотелось.

Сперва нам, солдатам 17-й дивизии, очень глянулось, что мы не просто солдаты, но  
еще и из резерва Главного командования. Однако скоро перестало нам это дело  
нравиться. Полки и бригады дивизии при наступлении придавались стрелковым и  
танковым соединениям, и командиры их зачастую обращались с нами точь-в-точь, как  
сейчас директора совхозов и председатели колхозов обращаются с техникой и  
механизаторами, присланными с юга на уборочную в Сибирь – снабжали, кормили и  
награждали нас в последнюю очередь, бросали вперед на прямую наводку, затыкали  
нами "дыры" в первую очередь. Командиры стрелковых полков и танковых частей были  
еще ведь и хозяева в своем "хозяйстве", хитрованы немалые, часто прижимистые,  
себе на уме и, конечно же, берегли "свое добро" как умели, и у кого поднимется  
рука или повернется язык осудить их за это?

Случалось, и не раз: зайдем огневые позиции, выкинем провода и средства  
наблюдения на наблюдательный пункт, окопаемся, изготавимся отдохнуть, чтоб  
завтра вступить в бой, как вдруг команда "сниматься" топать, затем ехать  
куда-то. На фронт ехали из Калуги ночами, половину машин теряли и потом целый  
день их разыскивали, плюнув на всякие условности, связанные со словами "военная  
тайна". Но когда обстрелялись, приобрели опыт, на виду у противника, зачастую по  
неизвестному или известному лишь командиру дивизиона и начальнику штаба  
маршруту, в дождь, в снег, в слякоть мчались на новое место затыкать еще одну  
"дыру", – почти на себе машины и орудия тащили – и никаких ЧП, никто почти не  
терялся во тьме, не отставал, ибо отстанешь, потеряешься, считай, пропал: "дыра"  
она и есть "дыра", там наши люди погибают, там танки противника стирают в  
порошок, втаптывают в грязь наши полки и батальоны, – корячиться некогда.

Один раз тащили-тащили на плечах и на горбу полуторку взвода управления со  
связью, со стереотрубой, бусолью, планшетами и прочим имуществом, и встала  
машина, не идет: это мы за ночь, то запрыгивая в кузов, то обратно, натаскали  
полный кузов грязи, перегрузили бедную полуторку. Выбрасывали грязь кто  
лопатами, кто котелками и касками, кто горстями и к месту сосредоточения бригады  
успели почти вовремя. Командир дивизиона, недавно умерший в Ленинграде, крутенок  
нравом до первого ранения был, мог и пинка отвесить, рассказывал: "Толкали,  
толкали, качали, качали как-то машину и все, перестала двигаться техника.  
Выскочил я из кабины с фонариком, ну, думаю, сейчас я вам, разгильдяи, дам  
разгон! Осветил фонариком, а вы, человек двадцать, облепили кузов машины,  
оперлись на него, кто по колено, кто по пояс в грязи – спите... Я аж застонал. И  
хоть гонористый был – двадцать шесть лет всего, и такая власть! – уж без гонору  
давай уговаривать: "Братцы! Ребятки! Просыпайтесь! Отстанем от своей колонны –  
погибнем..."

Бывали и исключения в обращении с нами, с "резервом Главного командования". 27-я  
Страница 2

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

армия под командованием генерала Трофименко взяла город Ахтырку и, углубляясь, начала расширять прорыв. Немцы решили отсечь армию, окружить, и нанесли встречный танковый удар со стороны Краснокутска и Богодухова (пишу по памяти и прошу прощения, если она сохранила не все точности, тем более "стратегические", - ведь я был всего лишь бойцом, и с моей "кочки зрения" в самом деле не так уж много видно было). Наша 92-я гаубичная бригада, находясь на марше, оказалась как раз в том месте, где осуществлялся танковый прорыв. Поступил приказ: занять оборону и задержать танки до подхода других полков и бригад дивизии. По фронтовой терминологии это значит: мы попали "на наковальню". А гаубицы в 92-й бригаде тульские "шнейдеровки" образца 1908 года! Ствол орудия для первого выстрела накатывался руками, снаряд в ствол досылался банником, станина нераздвижная, поворот люльки и ствола всего на половину градусов против современных пушек и гаубиц, в расчетах наших гаубиц осталась редкая и дикая должность - "хоботной" - это обязательно здоровенный мужчина, который за специальные ручки у станины таскает орудие из стороны в сторону, а наводчик у зада своего машет ладонью: "левее-правее". Сохранились сии орудия в каком-то Богом забытом углу, в бухте Петра Великого или еще какой-то на Дальнем Востоке. Форсуны-пушкарки, воюющие у скорострельных, ловких орудий, насмехались над нами, прозвища обидные давали. Но была одна важная особенность у 92-й бригады - в ней со столкновений и дальневосточных конфликтов задержались и сохранились расчеты еще те - кадровые, они за две-три минуты приводили "лайбы", как именовались наши гаубицы на солдатском жаргоне, в боевое положение и со второго или третьего выстрела от фашистских танков летели "лапти" вверх, от пехоты - лохмотья, от блиндажей и дзотов - оцепье.

92-я бригада с честью выполнила свой долг и задержала танки противника под Ахтыркой, выдержав пять часов невысказанно страшного боя. Из 48 орудий осталось полтора, одно - без колеса. Противник потерял более восьмидесяти боевых единиц - машин, танков, тучу пехоты, сопровождавшей танки; небо было в черном дыму от горящих машин, хлеба, подсолнуха, просяных и кукурузных полей, зрело желтевших до боя (стоял август), сделались испепеленными, вокруг лежала дымящаяся земля, усеянная трупами.

Вечером на каком-то полустанке из нашего третьего дивизиона собралось около сотни человек, полуобезумевших, оглохших, изорванных, обожженных, с треснувшими губами, со слезящимися от гари и пыли глазами. Мы обнимались, как братья, побывавшие не в небесном, а в настоящем, земном аду, и плакали. Потом попадали кто где и спали так, что нас не могли добудить, чтобы покормить.

За этот бой все оставшиеся в живых бойцы и офицеры 92-й артбригады были награждены медалями и орденами, а три человека - командир батареи Барданов (живет в Минске), замполит командира второго дивизиона Голованов (живет в Ленинграде), командир орудия Гайдаш (по слухам, живет в Москве) были представлены генералу Трофименко, командования 7-го арткавказа и удостоены звания Героя Советского Союза.

С тех пор командующий 27-й армией генерал Трофименко - говорят, очень хороший человек - возлюбил нашу артбригаду, кормил и награждал нас в 27-й вместе со "своими", иногда, быть может, и поперед их, и командующий всегда просил девяносто вторую с ее "лайбами" в придачу и на поддержку в ответственных, тяжелых боях, и наша орденосная бригада, по званию Проскуровская, ни разу вроде бы не подводила тех, кого поддерживала огнем во время наступления и заслоняла нешироким и нетолстым железным щитом в критические моменты. Помнят нашу дивизию и бригаду и в 38-й армии, в 3-й и 4-й танковых армиях и во многих других; иначе не приглашали бы на встречи ветеранов, как своих. В прошлом году во Львове встречались ветераны 38-й армии, и многим бывшим артиллеристам нашей бригады были посланы торжественные знаки и приглашения. Получил такое и я, очень благодарен за них ветеранам 38-й армии, и только нездоровье помешало мне встретиться с ними во Львове и обнять их.

В 1944 году наши боевые орудия, славные старушки - "лайбы" были заменены стомиллиметровыми пушками новейшего образца. Я их уже не видел, в это время лежал в госпитале, после которого попал в нестроевую часть и демобилизован был в конце 1945 года.

Командир дивизиона рассказывал, что когда "лайбы", чиненные-перечиненные, со сгоревшей на них краской, с заплатами на щитах, пробитых пулями и прогнутых осколками, сдавали в "утиль", на переплавку, командиры батарей и орудий попадали

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
на них грудью и, обнявши их, безутешно плакали. Тоже вот "штришок" войны,  
который не придумать и писателю, даже с самым богатым воображением.

Давно уже я работаю над романом про войну и, естественно, вплотную занимаюсь этой темой и стараюсь читать больше о войне и "военное", встречаться с ветеранами, инвалидами войны, и не только нашими, но и немецкими. Война-то все-таки шла с двух сторон, но изображается пока в основном односторонне. Трагедия немецкого народа, свергнутого в военную авантюру оголтелым фюрером - очень страшная трагедия, нами еще не осмысленная. Мы и свою-то трагедию, на мой взгляд, не до конца еще осознали и не все ее последствия еще расхлебали - пустующая русская деревня наглядно напоминает нам об этом.

Мне хотелось бы в романе более и ближе всего коснуться окопного быта, очень мало и пока приблизительно у нас изображаемого. Есть выразительные сцены боев и солдатского быта в книгах Юрия Бондарева, Василя Быкова, Григория Бакланова, Вячеслава Кондратьева, Виктора Курочкина, Юрия Гончарова, Константина Воробьева, появилась вот повесть Константина Колесова "Самоходка номер 120", книга Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо", книга Владимира Карпова "Полководец", есть потрясающие по обнаженности и драматизму главы в книге барнаульского писателя Георгия Егорова с бесхитростным названием "Книга о разведчиках", герой которой Иван Исаев, кстати, наш земляк - красноярец, живет ныне (жил) неподалеку от райцентра Идра, в родном селе. Великий это разведчик и воин. Но и в них, в этих честных и правдивых книгах, "житуха" - жизнью назвать существование в окопах рука не поднимается - изображена все же мимоходом, фрагментно, как что-то второстепенное.

Но пока человек жив, стало быть, главное для него все же - жизнь его. Или я отстал? Мыслью не так и не то? Перекос существует в моем мировосприятии, в том числе и войны?

Да и как ему не быть, "перекоосу"-то? В 1944 году я пропустил, забыл свой день рождения. Эка невидаль, скажете вы. Маршалы, генералы забывали, а тут солдат в обмотках! Но учтите: день рождения у меня 1 Мая! И исполнилось мне в сорок четвертом двадцать лет! Уж если поют, что "в жизни раз бывает восемнадцать лет", то двадцать тем более никогда больше не повторяются. У меня, во всяком разе, не повторились. И знаете, отчего я забыл-то? Что этому предшествовало? Военное наступление. Тяжелейшее, сумбурное, хаотические бои и стычки с окруженным в районе Каменец-Подольска, Чорткова и Скалы противником (нетрудно догадаться "по почерку", что командовал в эту пору 1-м Украинским фронтом маршал Жуков). Об этих боях даже в таком, тщательно отредактированном издании, как "История второй мировой войны", сказано, что она, операция по ликвидации окруженной группировки немцев в районе Чорткова, была не совсем хорошо подготовлена, что "командованием 1-го Украинского фронта не были своевременно вскрыты изменения направления отхода 1-й танковой армии противника", вследствие чего оно, командование фронта, "не приняло соответствующих мер по усилению войск на направлениях готовящихся врагом ударов..."

Представьте себе, что на самом-то деле было в тех местах, где шли бои, аттестованные как "не совсем удачные" или "не очень хорошо подготовленные". Напрягите воображение!

Рассекать окруженную крупную группировку противника была направлена половина и нашей бригады. Вторая половина слила горючее, отдала снаряды, патроны и оружие отправленным в наступление батареям. Поначалу все шло ладно. В солнечный весенний день двигались мы вперед, раза два постреляли куда-то и на другой день достигли деревень Белая и Черная, совершенно не тронутых войною, богатых, веселых, приветливых. Закавалерили артиллеристы-молодцы, на гармошках заиграли, самогоночки добыли. Дивчины в роскошных платках запели, заплясали, закружились в танцах вместе с нашими вояками: "Гоп, мои казаченьки!..", "Ой, на гори тай жинцы жнуть!..", "Распрягайте, хлопцы, конив...". Некоторые уж поторопились, распрягли. Слышим-послышим: немцы Черную заняли и просачиваются в Белую! (В этом селе создан был и до отделения Украины от России действовал Музей славы, в котором основные материалы были о нашей артиллерийской бригаде, возможно, и поныне музей еще жив). Это наши войска нажали извне на окруженную группировку противника, она, сокращая зону окружения, отсекла и заключила в кольцо войска, затесавшиеся рассекать ее, в том числе и половину нашей бригады.

Шум, суета, "Всем по коням!" - по машинам значит. Сунулись в одну сторону -

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

немцы, сунулись в другую – немцы, попробовали прорваться обратно через деревню Черную – оттуда нас встретили крупнокалиберными пулеметами, зажгли несколько машин и тяжело ранили командира нашего дивизиона Митрофана Ивановича Воробьева. Добрый, тихий и мужественный, редкостной самовоспитанности человек это был, единственный на моем фронтовом пути офицер, который не матерился. Может, мне, отменному ругателю, дико повезло, ибо слышал я от бойцов, очень даже бывалых и опытных, что таких офицеров не бывает. Бывает! Всегда и всюду мы ощущали, видели рядом уравновешенного, беловолосого, низенького ростом, Володимирской области уроженца – Митрофана Ивановича Воробьева (умер несколько лет назад в городе Новохаперске Воронежской области, но Капитолина Ивановна, его верная спутница, бывшая с ним на фронте, жива по сию пору, и я состою с нею в доброй переписке...). Он и на Днепровском плацдарме с нами оказался, в первые же часы и дни после переправы, тогда как некоторых офицеров из нашего дивизиона – да и только ли из нашего? – на левом берегу задержали более "важные и неотложные" дела, и вообще часть их, и немалая, завидев Днепр широкий, сразу разучилась плавать по воде, хоть в размаху, хоть по-собачьи, хоть даже в лодке, и на правый, гибельный, берег не спешили.

Колонна из ста примерно машин смешалась, начала пятиться в деревню Белую и здесь разворачиваться для броски через реку Буг. Тем временем в деревню действительно просочились немецкие автоматчики и взяли в оборот замешкавшихся артиллеристов. Поднялась стрельба, ахнули гранаты, все орудия и машины, упятившиеся в проулки и огороды для того, чтоб развернуться, тут же были подбиты и подожжены, деревня Белая горела уже из края в край. И вот плотно сомкнувшаяся колонна двинулась к мосту, а он уже занят немцами, и мы уже отрезаны и с этой стороны. Но колонна медленно и упорно идет к мосту. "Оружие к бою!" – полетела команда с машины на машину, и мы легли за борта машин с винтовками, карабинами, автоматами; в кузовах открыты ящики с гранатами; на кабины машин выставлены пулеметы, откуда-то даже два станковых взялось.

Приближаемся к мосту, по ту и по другую сторону которого – рукой достать – лежат немцы с пулеметами. Ждут. Каски блестят в сумерках, оружие блестит – и тишина. Ни одного выстрела! Все замерло. Только машины сдержанно работают и идут, идут к мосту. Вот первая машина уже на мосту. Ну, думаем, сейчас начнется! Впустят немцы колонну на мост, зажгут первые и последние машины и сделается каша... Но у моста немцев было не более роты, неполной, потрепанной в боях, у нас же в каждой машине по двадцать-тридцать человек, и все вооружены, все наизготовке – фашисты нам кашу или "кучу малу" устроят, но ведь и мы их перебьем! Нам более деваться некуда, нам выход один – прорываться.

Опытный, видать, у немцев командир роты был, умел считать и сдерживать себя – колонна прошла по мосту без единого выстрела. Предполагали, что хвост колонны уж непременно "отрубят", но и тут у немцев хватило ума "не гнаться за дешевизной", – ведь мы за рекой развернем орудия да как влупим по ним прямой наводкой – мясо ж и лохмотья полетят вверх...

Почти стемнело, когда мы остановились на горе, за Бугом, плотной, монолитной колонной. С горы было видно ярко полыхающую деревню, в ней что-то рвалось, брызгало ошметками огня – это горел и рвался боезапас на погибающих машинах, возле которых дрались в окружении и погибали наши расчеты и управленцы.

А в колонне царил взвинченное оживление. Какому-то хохочущему капитану лили в рот из фляжки жидкость и горстями снега терли ему лицо. По машинам пошли фляги. Я пил и удивлялся, что вода нисколько не остужает меня, но во фляге-то оказалась не вода, а самогонка. Я тогда не употреблял еще ничего крепкого, сморился и не помню уж, как металась всю ночь наша колонна по полям и деревням. К утру началась страшная метель, и нас вместе со многими получастями, штабами, госпиталями прихватило и остановило в местечке Оринин, неподалеку от Каменец-Подольска. Середина апреля, трава зеленеет, фиалки, мать-и-мачеха по склонам цветут, яблони и груши цветом набухли, а тут метель, и какая! Хаты до застрех занесло!

Утром донесли; немцы тянутся и тянутся к Оринину, сосредотачиваются для атаки. Мы оставили раненого майора – Митрофана Ивановича, командира нашего – в школе, где временно размещался госпиталь, забитый до потолка ранеными, дали ему две гранаты-лимонки, две обоймы для пистолета, и он сказал нам, виновато потупившимся у дверей: "Идите. Идите... Там, на передовой, вы нужнее..."

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Бой шел долгий, кровавый, злобный, неистовый. Патронов и снарядов как у нас, так и у немцев было мало, дело дошло до рукопашных. Сказывали, что в Оринине находится штаб четвертой танковой армии и командующий четвертой генерал Лелюшенко будто бы здесь же, что стоит у него самолет наизготовке, но он не бросает свой штаб, но вот роту охраны и танки из своей охраны бросил в бой...

Если это было так, я кланяюсь от имени всех нас, бывших в Оринине под его командой бойцов, и благодарю старейшего нашего военачальника за то, что не бросил он на растерзание ни нас, ни госпитали, ни безоружные штабы. А ведь знал он, знал примеры и иного порядка: бросали не только штабы, но и армии целиком, и не по одной, по три и по пяти даже некоторые горе-генералы наши...

Вот тогда, в те жестокие и кроволитные весенние бои под Каменец-Подольском, и затем под Тернополем и забыл я о своем дне рождения. И Бог с ним! Зато внуки мои имеют возможность отмечать ежегодно именины свои, получать подарки, петь, плясать и радоваться жизни.

Видите вот, опять меня от "битв и быта войны" унесло вроде бы в сторону. Что же все-таки такое, этот самый быт? Солдатский? Есть у меня в Алтайском крае, в Кытмановском районе, в деревне Червоно, фронтовой друг Петр Герасимович Николаенко, как и многие переселенцы с Украины, он к своему хохлацкому, упрямому и самостоятельному характеру прихватил еще сибирской прямоты, грубости и безотчетного чувства справедливости. Мы с ним прошли все части: стрелковый полк, автотанковый полк и в 92-й бригаде попали с пополнением в один дивизион, во взвод управления. Я детдомовщина, более подвержен "мимикрии", приспособлен к народу, к обществу, к обстоятельствам, к голоду, к холоду, ко всевозможным лишениям, ловок, мягок когда надо, и "артист" к тому же - могу прикинуться кем и чем угодно. Да и начитан уже был изрядно, защищен и с этой стороны и, чего там скрывать, добытчик харча с подзаборных времен был находчивый. Мне до какой-то поры удавалось смягчать, иногда заслонять собою простоту спутника и дружка моего, которая порой бывала хуже воровства. Всем он лепил "правду-матку" в глаза, матерно выражал свои чувства и отношение к командирам. Ну и, естественно, они его недолюбливали, а начальник штаба дивизиона, после ранения Митрофана Ивановича сделавшийся командиром этого подразделения, по военному статусу равному полку, моего громыхалу-корешка просто терпеть не мог, и до того он догнойил, догонял, досрамил, довел Петьку, что однажды, обливаясь слезами, тот взревел по-бугаиному: "До танкистов пиду! Визмуть мэна водителем - я ж тракторыст. Сгору у тым танку, йего мать!"

Крупный телом - торчит нелепая его фигура где надо и не надо, раздражает командирский глаз, голос рокошующий, хохотун и выпивоха, силы богатырской, нраву, знал я, добрейшего - последний кусок хлеба разделит, из последних сил поможет Петро мой. Когда я вернулся недоуменный из госпиталя, култыхаю, бывало, как худая кляча, на передовую, на наблюдательный пункт, с двумя катушками провода на горбу, с оружием, подсумками, телефонным аппаратом и падаю начинаю самым натуральным образом, из темноты просунется ручища, снимет с моей взмыленной спины катушки, со звяком забросит их на свои "Да ладно, Петька, - робко начну я перечить, - как-нибудь сам..." "Мовчы, йего мать!" - прорычит мой друг, истинный друг, и поперет две тяжкие солдатские и связистские ноши вперед, на запад. Я уж ему толковал, что чем "до танкыстив" ийти, лучше уж нам вместе "к Шумилихину податься" - знаменитость это местного масштаба, прославленная личность в нашей дивизии была, и о нем, о Шумилихине, речь впереди. Тем и удержал я своего преданного друга от опрометчивого поступка - он бы по его уму и характеру в самом деле рванул "до танкыстив", и, глядишь, судили бы его как дезертира.

Потел Петро во время работы очень сильно, а работы у артиллеристов адской и бесконечной тьма, и от пота не только белье и гимнастерка, но и телогрейка у друга моего насквозь бывала мокрая. Руки его потрескались от сырого черня лопаты, на плечах коросты от бревен, таскаемых на перекрытия, потную одежду промораживало зимой, инеем покрывало, простывал и кашлял Петро страшно, на мокро садилась пыль, и к середине лета гимнастерка на Петре изнашивалась в лоскутья, становилась черная, словно хромовая. Всегда сырая на нем была одежда, с бельем и телом слипшаяся. Закручу, бывало, в горсть гимнастерку на спине друга, а из нее выжимается желтая, липкая, как смола, жижа. Прелая гимнастерка через край грубыми нитками зашита. В кармане гимнастерки были у Петра письма и фотографии матери, любимой девушки и наша с ним - снялись в Святошино, под Киевом, когда были на перформировке - и вот, мокром и солью "съело" фотографии, письма от любимой девушки "съело и размыло в кашу", ладно, что у моей деревенской тетки

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
сохранилась наша фотография. Как он радовался, когда я послал ему копию с нее и написал о нем какие-то добрые слова в газете "Красная звезда". На фронте он не часто слышал добрые слова, да и потом, работая много лет председателем и заместителем председателя крупного, надсаженного войной колхоза, немного их слышал. В прошлом году вышел Петро – Петр Герасимович Николаенко на действительно заслуженную в труде пенсию.

Еще немножко быта, да? Ну, уж тогда самого грубого, такого, какового в наше благопристойное, многословное кино на сто верст не допускают. Вот представьте себе траншею и в ней человек пятьсот народу. Народ, он хоть и солдатами зовется, все равно остается человеками. А человек – существо громоздкое, неловкое, много вокруг себя всяких дел делающее, хламу оставляющее. К нам, в красноярский Академгородок, из-за снежных заносов не приходила "мусорка" несколько дней – и мы обросли сором, завоняло у нас из отбросных ведер. Д-а-а. Солдатуку надобно три или хотя бы два раза поесть в день, неотложную нуждишку справить и, если прижмут "оттеда" – с другой, значит, стороны, справлять ее приходится на дно окопа, затем "добро" лопаткой на бруствер выбрасывать. И вот пятьсот-то человек, да в жару, да недельку, а то и месяц, как побросают, да ежели еще на поле боя и на "нейтралке" разбухшие, разлагающиеся трупы людей и лошадей валяются, представляете, что это такое? Вонь, мухота, крысы откуда-то возьмутся, по-фронтному осатанелые, наглые, случалось, раненым носы и уши съедали, мертвых пластали в клочья, дрались в окопах с визгливым торжеством, "окапывались", и справляли свадьбы, и окотывались здесь же.

А вши? Кто-нибудь, кроме фронтовиков, может себе представить во всей полноте это бедствие? Изнуряющее, до тупости доводящее...

Я как увижу в современном театре или военном кино артистов с гривами, девиц с косами, разодетых в хромовые сапожки, под музыку вальсы и танго танцующих или с ранением в живот исполняющих романс: "Ах, не любил он, нет, не любил он...", так мне хочется взять утюг и шарахнуть им в телевизор. И ведь эта красивая, "киношная" война сделалась куда как привычней и приятней для сердца и глаза, чем та, которая была на самом деле. Есть даже термин: "Комедия о войне!" – хоть бы вслушались в дикость этих слов! Хоть бы почувствовали кошунство и глумление их, если не сердцем, то умишком, пусть и коллективно-руководящим. Миллион людей в Ленинграде, в основном детей и стариков, поумирали от мучительной, голодной смерти. Сотни тысяч пленных погибли в жутких немецких концлагерях, муки мученические пережили наши беззаветные труженицы-сестры, матери и дочери, надорвавшиеся в тылу непосильным трудом, от многих ран в госпиталях и на поле боя погибли десятки миллионов людей, раны у старых бойцов болят до сих пор и не дают им спать ночами, а тут – комедия! О войне! "Мы парни brave, brave, brave!.." А? Каково?!

Да ладно. Эта комедия комедией и задумана, но когда пытаются вроде бы всерьез поведать о войне, да получается комедия с показом такого "героизма", что война уж выглядит нелепым фарсом – в таких комедиях запросто, одной каской, десять фрицев уложил наш боец, да еще и песенки напевая, такой он насмешливый и неустрашимый, в таких комедиях драпают тучами ошалелые фашисты-статисты, крича по-рязански или по-вологодски: "Гитлер капут! Гитлер капут!", в таких комедиях наши бойцы запросто, будто с игрушками, расправляются с немецкими танками посредством гранат и зажигательных бутылок – зачем только и нужна тогда была нам артиллерия, авиация и танки? Лишние расходы!

Кстати, и привыкли наши военачальники к подобной войне, уж явное превосходство над немцами в танках имели, а все боролись с танками и останавливали танковые наступления в основном артиллерией, не стеснясь ставить на прямую наводку и наши "лайбы", а ставить их "на прямую" можно было только с горя и от нужды, как говорил командир 92-й бригады генерал Дидык, тоже недавно умерший и похороненный в Ленинграде.

Конечно, когда против сотни танков противника выставляется тысяча орудий, артиллеристы в конце концов завалят снарядами, выбьют технику противника, как об этом сильно и точно написано в романе Юрия Бондарева "Горячий снег". Но какие при этом потери? Ведь как-никак открытая со всех сторон пушка воет против бронированной громады. Что-то я нигде не читал у наших военачальников и не слышал от них, чтобы они раскаивались в том, что из-за подобной стратегии на войне и массового героизма опустела русская деревня и дичает по всей России, зарастает земля без хозяина-крестьянина. У нас были и остались настроения: все

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
огромные, часто неоправданные потери на войне списать на Победу и этим утешиться. Да что-то не очень утешается, как насмотришься да послушаешься наших вдов и в сиротстве выросших детишек.

В наших комедиях фанерные танки палят без устали, на ходу, хотя любой вам танкист, с подлинного танка, скажет, что это нелепость, что на ходу можно стрелять только сдуру и для испугу и попасть в цель можно лишь случайно, что после четырех-пяти выстрелов танк, даже новейший по тем временам, полон дыма и поэтому выстрелами, особенно первыми, когда все еще видно и кашель не забивает экипаж, надо дорожить и стрелять как можно точнее, иначе попадет самому: танк - цель очень большая и видная. В подобных же комедиях палят из автоматов и косят врагов, как траву, и столь метко и много палят, что в диске автомата должно быть по крайней мере тысяча патронов. Но в круглый диск автомата входило девяносто, чтобы пружины не зажало, чаще всего снаряжали автоматные диски половиной патронов, в "рожок" входило сорок пять, повторяю, в рожке и в диске были очень тугие пружины, и более пятидесяти патронов опытный боец в диск никогда не заряжал, иначе в самый опасный момент поставит патрон "на попа" или перекосит его, затвор в автомате был почти полностью открыт, и от попавшей в него земли и особенно песка оружие это часто "заедало". Автомат наш был малоприцельным оружием, "ближнего боя", очень ненадежным, и "старички" - опытные солдаты, постреляв из него и попользовавшись им, постепенно перешли обратно на матушку-винтовку; мы, связисты, - на карабины, эти никогда не отказывали, и все в них было для боя полностью: обойма о пяти патронах: с белой, красной, черной, зеленой и простой головой. Белая - разрывная, красная - зажигательная, черная - бронебойная, зеленая - трассирующая - чего еще надо-то? Весь боевой "арсенал" при тебе! И прицельность у карабина такая, что в воробья-беднягу попадали за сто шагов, я из карабина в Польше немца убил, во время боя. Нет, нет, не матерого эсэсовца, не тучного "обера", а худосочного какого-то работягу или крестьянина, в редкой белесой щетине. Котелок у него на спине под ранцем был, и этот котелок и сгубил человека - цель заметная. Под него, под котелок, я и всадил точнехонько пулю, когда немец перебежками пошел ко клеверной скирде, за которой, видать, сидел командир, а был "мой" немец, очевидно, связным. По молодой, беспечной глупости я после боя сходил посмотреть "моего" немца - и с тех пор он преследует меня. Случалось у меня, и не раз, "материал", угнетающий душу, выложишь на бумагу, и он "утихнет", "отстанет" от тебя. Про немца, убитого мною, я уж давно собираюсь написать, чтоб избавиться от него. (Написал в повести "Веселый солдат", но избавился ли?)

Вот такая "комедия". Между прочим, ни разу я не слышал, чтоб "зарубили" кино или книгу со лжепатриотической, шапкозакидательской войной. И сколько же породили приспособленцы всех мастей ура-патриотизма, сколько состряпали лжегероев, демагогов, военных кавалеров, красавчиков-лейтенантов, миловидных игрунчиков-хохотуш- санинструкторш и совершенно отрешенных от мира, насквозь героических и до того непреклонных радисток диверсионных и партизанских отрядов, что уж невольно начинаешь думать: слава те, Господи, судьбою обнесло - жена у меня не радистка, обычный военный медик, сержант, - душу ж леденит и сжимает от одного неустрашимого взгляда радистки-разведчицы.

Недавно одна руководящая дама под видом непримиримой борьбы за "чистоту" идей положила "на полку" телевизионный фильм по моему рассказу. Мотивы? Фильм печальный. Как будто о русской вдове, о жизни ее чистой и горькой надо снимать вертлявую оперетту с песенками и танцульками. И снимают! Но я-то этого не могу и не хочу делать, рука не поднимается. Ту сверхбдительную даму с высокой должности согнали. Надеюсь, картину нашу, добрую и грустную, скоро увидят телезрители. Но я думаю вот о чем: ведь она, этот "борец за правду" и за "чистоту идей", срубила не один десяток фильмов. Забракованные ею фильмы заменялись на экране всевозможными, всегда под рукой находящимися кинопустышками. Вред? Огромный. Но кроме морального урона есть еще вред прямой, государственный: ведь каждая картина стоит денег, и немалых. Наш фильм, односерийный всего лишь, стоит полтора-два тысяч рублей. И как же это возможно, чтоб один человек, нечистоплотность которого видна была "невооруженным глазом" уже по его отношению к искусству, по частому употреблению в речах высоких слов, используемых в качестве "воспитательной оглобли", как же это возможно, чтоб она или он одним мановением руки наносили такие убытки государству, тогда как на предприятиях, в колхозах, на транспорте, на суше и на море идет борьба за экономию каждой копейки?!

Ну вот, заговорил я и о сегодняшних противоречиях в жизни и искусстве, а память



Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevictor.ru](http://astafevictor.ru)  
отринула меня снова к войне. Были противоречия и на фронте. Да еще какие! Очень даже разнообразные и всегда кровавые.

Расскажу об одном из них.

Весной 1945 года 17-я Киевско-Житомирская дивизия вместе с другими соединениями блокировала Берлин с западной стороны, и, когда город капитулировал, на запад хлынули тучи немецких войск. Несколько суток шла невиданная и неслыханная по крови и жертвам бойня. Дело дошло до того, рассказывал мне командир дивизии, что на огневых позициях артиллеристы рубили топорами и лопатами озверелых и обезумевших фашистов. В тех последних на территории Германии боях дивизия потеряла две с половиной тысячи человек, испытанных огнем, боевых и славных артиллеристов, почти доживших до желанного Дня Победы. Противник понес потери десятикратно большие.

За бои под Берлином Сергей Сергеевич Волкенштейн был удостоен звания Героя Советского Союза, не он, конечно, один, но речь пойдет пока лишь о нем. Звезду Героя ему вручил командующий 1-м Украинским фронтом Иван Степанович Конев - в обход руководства артиллерии фронта.

Отчего же в обход-то?

А вот отчего. До войны, после многих приключений в своей жизни, Сергей Сергеевич Волкенштейн, как я писал в начале этой статьи, возглавлял Киевское артиллерийское училище и ни сном ни духом не ведал, что сведет нас судьба - воистину земля круглая!

Был в одном из подразделений, которым командовал еще в тридцатых годах недисциплинированный, зато нахрапистый и ловкий офицер, которого начальник его не раз и не два наказывал за разгильдяйство, пьянство и наглость.

Определивший в Сибири училище генерал Волкенштейн был отозван Ставкой и возглавлял штаб артиллерии на Волховском фронте и первую артподготовку провел под Шлиссельбургской крепостью, в которой его бабушка- каторжанка, Людмила Михайловна, в девичестве Александрова, провела тринадцать лет. Затем генерал приступил к формированию крупного артиллерийского соединения, которое сам же и возглавил, которое зачал с артполков, бывших в "деле" на Волховском фронте - так и началась 17-я дивизия, сформировав которую, Волкенштейн ее и возглавил. И он это крупное артсоединение не просто сформировал и возглавил, но в процессе формирования провел модернизацию артиллерии. Многие орудия были "переставлены" со старого, тяжеловесного хода на новый, облегченный; наши "лайбы", например, с тракторной тяги были переведены на тягу автомашинную, на "студебеккеры", и вместо 13-15 километров бригада могла за ночь сделать бросок на 60-70 километров. Части дивизии сделались более маневренными, что и требовалось для будущих наступательных боев.

И вот могучая дивизия движется с боями вперед на запад, и никто, даже сам командир дивизии, не знает, что она одновременно приближается к большим, непредвиденным, неожиданным испытаниям и даже бедам. Тот самый офицер, что был когда-то в подчинении Волкенштейна и терпел от него утеснения, очень ловкий карьерист, стремительно продвинулся в званиях и чинах - путных-то военачальников поистребляли, - оказался ни много ни мало, как начальником артиллерии 1-го Украинского фронта.

Далее я перескажу то, что с большой горестью и болью рассказал мне Сергей Сергеевич:

Начальник артиллерии фронта, знал я, артиллерист был слабый, зато карьерист оказался сильный - такой вот каламбур! Вместе с чинами и званиями росло чванство и самодурство злопамятного человека, но ума не прибавилось.

Решил он во что бы то ни стало отомстить мне за прошлые обиды и начал "подставлять" мою дивизию так и в такие места, чтоб она погибла, а я чтоб головы не сносил. Но ведь "подставляли-то он не абстрактную цифру семнадцать, не номер дивизии, и не меня, наконец, а вас, дорогих моих бойцов, беззаветных, иначе и не скажешь, труженников. Трижды, четырежды, до гробовой доски я буду виноват невольной виной перед вами, мои дорогие парнишечки, особенно гнетет вина перед погибшими, израненными и изувеченными. Бывает, соседняя наша дивизия,

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

большинство частей которой оставалось на тракторном и даже конном ходу, трюхает к фронту не торопясь, моя же дивизия, модернизированная, подвижная, уж навоюется досыта, и вы там, на передовой, ребята мои, уже не раз умоетесь кровью. Соседу за "аккуратность" в потерях, за экономию горючего и снарядов – благодарность, мне за перерасходы – выволочка; соседям – ордена и отдых, моим бойцам марш, марш и не только награды, но и харчи в последнюю очередь. Однако главное было: воевать, победить врага, исполнить свой долг. После гибели Ватутина был Жуков командующим 1-м Украинским фронтом, затем Конев, опять Жуков, опять Конев. Смена командующих как-то мне и помогала "спрятаться", приспособливаться к обстановке, иметь дела непосредственно с действующими армиями, от них и с помощью их снабжаться, пополняться. Но корпус-то прорыва! Он, корпус, и, значит, дивизии – в непосредственном подчинении командования артиллерией фронта, хоть и числятся за эргэка. Но до Москвы далеко, до этого самого эргэка высоко, командование же артиллерии – вот оно, тянет к телефону, к радию и, не подбирая выражений, угрожает, кроет седого, потом обливающегося генерала. Все крупные прорывы, артподготовки планировались, подготавливались и утверждались в штабе фронта. Не больно-то спрячешься. То ли дело ваш брат, битый боец, – хитрюга, занырнет в щель, в окоп, в воронку, заляжет в кустах со своим имуществом – вещмешком и винтовкой, и посапывает там себе, спит – и ищи его – свищи!..

Ах, как он, мой отец-генерал, обрадовался, возликовал, когда под Житомиром я "потерял" дивизию. Думал, видать: тут-то мне и конец, явственно видел меня на скамье перед военным трибуналом. Но в той обстановке массового отступления и неразберихи, сопутствующей любому драпу, я принял единственно правильное, считаю, решение: дал по радию приказ всем командирам полков и бригад действовать по своему усмотрению. Я знал свой народ, доверял своим командирам, и они, в большинстве своем, приняли тоже верные решения: свернули с Житомирского шоссе в направлении на Брусилов, потому как на Житомирском танки Роммеля в упор расстреливали сгрудившиеся колонны восемнадцатой армии, привыкшей к неторопливым боям "местного значения" на вспомогательном фронте. Сдерживая противника, не давая ему развивать наступление на фланге, в конце концов свежие части и мы тоже остановили его, хотя, конечно, и потрепаны были изрядно. Под командованием делового и строгого командира Дидыка ваша бригада проявила в боях особое упорство, пострадала, конечно, сильно побита была и угодила на переформировку в Святошино. Но именно нам, нашей дивизии, командующий фронта присвоил и верховный утвердил звание Житомирской. Киевско-Житомирская, многожды орденоносная. Горжусь! Все вынесли мои бойцы и победили! В числе других соединений, освободивших Киев и правобережную Украину, золотом написан номер нашей дивизии и все ее звания на своде мемориала Победы в Старопетровцах; знамена дивизии хранятся в одном из почетнейших мест страны – в Ленинградском артиллерийском музее.

Ну а я? Начал воевать генерал-майором и закончил в том же звании. "Шеф" же мой, бог фронтовой артиллерии, начав войну с подполковника, стал генералом армии. Затем в Генштабе вроде бы и маршалом, и не знаю, прибавлялось ли у него вместе с чинами и званиями ума, но вот самодурство росло неуклонно. После войны я начал преподавать в артиллерийской академии, достал и там меня мой "шеф", выжил из академии, загнал на пенсию, в домашний угол, а я ведь мог еще приносить пользу армии, народу, Родине... Ну да ладно, Бог с ним, со мной. О Шумилихине-то что-нибудь слышал? Написал бы о нем. Сорванец, конечно, но любил я его, и все в дивизии любили. Ты хоть видел его?

- Видел. Один раз.
- В бою?
- В бою.
- Где видел-то?
- Под Проскуровом. Там же и маршала Жукова видел.
- Ну и как? Как они?

Ну вот и пришла пора вспомнить действительно славного, действительно боевого командира истребительного полка Шумилихина. Всякие о нем катились слухи по дивизии, в том числе и о том, что четырежды его представляли к званию Героя и всякий раз отзывали наградное дело из-за "художеств", его личных и не менее

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
прославленных походами, всевозможными "художествами" и выходками дорогих его истребителей.

Солдаты сказывали (а они все-о-о знают!), что командир истребительного полка подбирает себе кадры и восполняет потери следующим образом: как узнает, что в пехоту, им поддерживаемую, поступило пополнение, берет двух своих гренадеров-денщиков, разряженных понарядней полевых офицеров, те водружают на спины ведерный термос, рассчитанный на доставку горячего супа в окопы, и вещмешок с хлебом, салом или с селедкой, да под покровом темноты и начинают обход траншей. Командир полка будто бы большой был спец беседовать с советским солдатом "по душам" и будто бы спрашивает: "Откуда и чей будешь, браток?" И если, значит, солдат из тьмы сообщал, что сибиряк он, либо уралец и к тому же недавний штрафник, бывший детдомовец или вообще бандит отпетый – тут же из термоса зачерпывалась кружка спирта, из рюкзака вынался "бутыльброд" с салом, и пока солдат управлялся с выпивкой и харчем, ему объясняли, что лучшего войска, чем истребительный полк Шумилихина, на всем свете нету, во всяком разе на 1-м Украинском такой прославленной части днем с огнем не сыщешь. Командир полка – не просто отец родной, но можно смело, не боясь впасть в преувеличение, сказать: из отцов отец, и вообще артиллерия – это тебе не пехота, попалил маленько по врагу и спи себе, опять же у пушки щит железный, пусть и небольшой, нетолстый, но все же преграда, и за ним, за щитом, укроешься хоть от пули, хоть от осколков. А уж снабжение! Сам видишь – сала не проедаем, спирту и водчонки не перепиваем, сыты, пьяны и нос в табаке! – и вторую, значит, кружку вояке. А тому, доходившему три месяца в запасном полку, на тыловой норме, много ли надо? Тяпнет две кружки разливухи, съест шмат сала да полбулки хлеба, и все – "работа с кадрами закончена!.."

Уж как там и что было, каким образом пополнялся, воевал и двигался полк Шумилихина вперед на запад, я в точности не знаю, но один раз, как уже говорил, видел самого командира полка и его "орлов" в деле.

Есть неподалеку от города Проскурова (ныне это Богданов-Хмельницкий) красивое местечко с выразительным названием Черный остров, и вот под этим местечком застряли мы и как-то вяло, неорганизованно, даже вроде неохотно вели бои тоже с вяло и неохотно отбивавшимся противником. Под какой-то деревушкой, стоящей меж совершенно диких и довольно обширных зарослей леса, мы и "бились" уже несколько дней. Пехота картошку варит по всем полям, артиллеристы-бойцы анекдоты по телефону травят, офицеры подворотнички подшили, сапоги начистили, вроде как на танцы собираются ехать, а вечером как понаехало машин и бронетранспортеров, как вышел из одной машины коренастый человек в кожаном пальто да как зыкнул: "Командиров ко мне!.." Я и близко к командирам "не лежал", но спину у меня покорило. "Загораете?" – рявкнул человек в кожанае (тут я на всякий случай с телефоном в окопе спрятался, в "землю ушел" – надежное укрытие солдата от всех бед и начальников)... А по окопам: "жуков! жуков! жуков!.."

Утром просыпаемся... Мамочки мои! Войска-то, войска понаперло! Впереди нашего наблюдательного пункта торчат из когда-то выкопанных огневых стволы "зисовских" пушек, Худые это соседи. Не любили их за оглушительную, тьявкую стрельбу, от которой гложнут все вокруг. Мало что она, пушка, по ушам ударит тебя, так еще и непременно подпрыгнет, солому и землю подкинет вокруг себя, дымом окутается. Глядишь, по пушчонкам-то ответно бить начнут, и, коль близко расположен, заодно попадет и соседу, да еще, как на притчу, попадет раньше и крепче, чем самим орлам- артиллеристам.

Наступило утро, началась война. Из села выползло штук восемь немецких танков: четыре медленно ползут, четыре, остановившись, лупят из орудий. Истребители зашумели, закричали и открыли ответную пальбу. Танк, он, конечно, громада, однако попасть в него не так уж и просто, и, когда артиллеристы попадали в танк, а зенитчики – в самолет, обязательно в любой, даже самой крайней обстановке раздавался клич ликования, бойцы, что помоложе, даже подпрыгивали, шапками оземь били.

И вот, стало быть, утро продолжается, пальба, стрельба и шум разрастаются, танки двигаются, пехота немецкая из лесу норовит в поле выйти, как вдруг резкий, визгливый взрыв, клуб огня с серым, почти синим дымом – это истребители угодили в танк, мы уж по звуку взрыва снаряда, не заглуженного землей, не "снопом", а вот именно клубом, дымным комком, знали, что это такое, и одновременно с расчетом пушки издали торжествующий клич, запрыгали, заликовали...

И внезапно все смолкло – словно отрубило топором наше всеобщее ликование: танк подрал завесу дыма и как ни в чем не бывало двигался вперед, водил хоботом пушки, ноздрею черной принюхивался к дерзкой пушчонке, всадившей ему снаряд в бронированный лоб.

Через минуту пушчонка, как дворовый пес шарик, лежала кверху лапами, и я точно помню – визжала со страху.

Я не раз видел драпающих вояк, увы-увы, не только фашистских, и сам драпал, разочка два даже босиком, так как спать в обуви не мог и имел привычку разуваться в удобном месте и в удобное время. Кстати, первый удар под Ахтырку нашей бригаде нанесли не немецкие танки, а наш, драпающий от них, стрелковый полк. Ошалевшие славяне, которых артиллеристы валили наземь, держали втроем, вчетвером каждого, двух или трех вроде бы для остротки застрелили, ворвались сперва туда, где окапывались взвода управления, потом и на огневые позиции, поизорвали связь, своротили стереотрубы, порастоптали всякое имущество, смели напрочь все, что можно смести, и, оставляя ключья одежды в перстях тех, кто их пытался задержать, загнанно, по-лошадиному храпя черными, разъятыми ртами, умчались вдаль.

Но драпающую пехоту, или, говоря осторожным языком военных сводок, "меняющую боевую позицию" (всегда, конечно, худшую на лучшую меняющую!), хоть короткий миг видно и слышно, а вот, как исчезают расчеты орудий, я ни разу увидеть не сподобился. И у тех стасемидесятишестимилли-метровок, что стояли впереди нас под Черным островом, мгновенно не стало расчетов – ни одной живой души! Артиллеристы не убегали, не улетали, не уползали – их просто не стало, испарились! Отлетели, как свят дух!..

Разумеется, война продолжалась, бой шел и без них, бил наш дивизион из закрытых позиций и загнал немецкую пехоту обратно в лес, били другие батареи и полковые пушки, сгущались разрывы меж лесом, на поле, деревне попало крепко, там уже горело несколько хат, и какие-то машины черно и высоко дымили: в подоженных клунях рвался, разбрасывая стены и крышу, артсклад.

По траншее, проложенной из тыла, от дороги к передовым позициям, в которой, вырыв себе ячейку, сидел и я с телефоном, прошествовала живописная тройца: впереди косолапый подполковник с отвислой от тяжести пистолета расстегнутой кобурой, бившей по заду, и с папахой, зажатой под мышкой. За командиром шествовали два адоровенных, сытых бойца, увешанных медалями и орденами. В кубанках, в комсоставском обмундировании, с новенькими автоматами на груди и гранатами за поясом. Подполковник лицом очень был похож на любимого, ныне здравствующего дирижера Светланова. Дирижер во фраке, конечно, выглядел элегантнее и стройнее фронтového командира. Два бойца были похожи друг на друга, как близнецы, и лица не имели. Вместо лица у них были сурово сдвинутые темные брови в солдатский ремень шириной.

Не прошло и пяти минут, как меж сиротливо умолкших пушек возникла папаха, по бокам ее во весь рост встали два автоматчика-гренадера, и вот эта папаха, чуть возвышающаяся над холмами свежей земли, зримо торчащая меж двумя огневыми позициями, тонкий и пронзительный, похожий на голос недавно работавших пушек, исторгла звук: "А-а, сукины дети! А-а, мерзавцы! А-а, змеи подколодные! Так вас и перетак! Смотрите, смотрите, как вашего полковника убивать будут!.." (звание командир тот округлил, должно быть, для большей выразительности).

И что вы думаете? Как исчезли, испарились расчеты от пушек, так же незримо и возникать начали – из земли, из воздуха, с небес сошли, что ли?! Заговорила одна, другая пушка, продолжался бой, война продолжалась. Гляжу, по траншее от орудий топает подполковник со снова зажатой под мышкой папахой, за ним два молчаливых гренадера. Я не утерпел, высунул из своей ячейки, глазею – интересно же, не каждый день таких героев увидишь! – как вдруг подполковник остановился против меня, уперся в меня взглядом и удивленно захлопал выгоревшими на солнце ресницами, хлопал, хлопал и спросил:

"Солдат! Ты с какого кладбища?.." – Узнаю я, скоро узнаю и на себе любимое это изречение командира дивизии – Шумилихин бесхитростно ему подражал. Не дожидаясь ответа, махнул командир рукой, засмеялся и пошел дальше, а за ним два гренадера дружно гыгыкнули и сдвоили шаги.

Так вот видел я первый и последний раз знаменитого командира истребительного полка Ивана Шумилихина, который был-таки удостоен звания Героя Советского Союза, погиб в бою в Германии, похоронен на холме Славы во Львове. И слышал я, обретя независимость, неистовые самостийщики тот холм скопали, над славными могилами надругались, но надеюсь, что добрый народ вологжане прах своего славного земляка перевезли на Родину.

Ну а что же наши генералы-артиллеристы? Они оба давно уже покинули земные пределы, давно покоятся в других местах, на совсем тихих, небоевых "позициях", там, где нет не только склок, интриг и происков, но даже "болезней, стонов и мук нет, но жизнь бесконечная", как гласит древняя печальная мудрость.

Об одном генерале журналист Георгий Миронов написал книгу "Командир дивизии прорыва" и издал ее в серии "Богатыри". В Житомире создан был музей боевой славы 17-й артдивизии, но сохранился ли ныне - не знаю. Там хранились вещи ее командира, боевые его награды, личное оружие. Где-то живет и работает сын генерала. Помню его скромным, деловым, остроумным парнем, снисходительным к причудам старого отца. Ветераны нашей 17-й дивизии чаще всего встречались в Киеве и в Житомире, поминали своего командира добрым, тихим словом. Но уже давно нигде не собираются - остарели славные артиллеристы, поумирали.

О втором генерале, Алексее Кондратьевиче Дидыке, я нигде, кроме книги Георгия Миронова, не читал ни единого слова.

Что ж, пора, пожалуй, заканчивать - о войне нам, фронтовикам, говорить - не переговорить, вспоминать - не перевспоминать. Я и так, кажется, вторгся в "материал" своего романа о войне.

И все же хочется и мне повиниться за всех за нас, ветеранов 92-й бригады и, в частности, бойцов и командиров 3-го дивизиона, перед Митрофаном Ивановичем Воробьевым. Слух был, что наш бывший командир дивизиона, фронтовой товарищ живет в Воронежской области (жил), но на встречи ветеранов своей дивизии не ездил, никому не писал. Обиделся. Да и как не обидеться, если он больше года пролежал в госпитале и никто - ни из офицеров, ни из бойцов его дивизиона не написал ему ни письма, ни привета.

Дорогой Митрофан Иванович! Может быть, попадут Вам на глаза эти строки и хоть немного утешат Вас. Мы-то, бойцы взвода управления третьего дивизиона, всегда Вас помнили и помним, да закрутила нас война, завертела жизнь. Простите нас, если можете...

И вот чудеса, не только в решетке! В город Новохоперск поступило всего четыре экземпляра моего первого собрания сочинений, два ушли "по своим", а два решили разыграть в лотерею, и... есть же, есть Силы Всевышние: страшный книгочей Митрофан Иванович Воробьев один из двух экземпляров выиграл! Прочитавши эти заметки в "Правде", он написал мне большое замечательное письмо: "Глянул на портрет Ваш и что-то забрезжило в памяти, увиделось, как молодой паренек тащит меня, раненого, за воротник полушубка..."

Тащили мы его, нашего командира, попеременно, тащил и я. А вот встретиться нам не довелось. Прособирался я, опоздал...

И не удержусь, попрошу через газету со много обязывающим названием "Правда" не унижать нас, уже немногих в живых оставшихся воинов, ложью, пусть и красивой, той самой ложью, по которой нежданно вышло, что 18-я армия, воевавшая долгое время на вспомогательном фронте, была чуть ли не главнейшей ударной силой на войне, начальник политотдела этой армии - чуть ли не самой великой фигурой на фронте.

Однажды был опубликован снимок: он, начальник политотдела, на передовой беседует с бойцами. Подлинные бойцы - окопники, бедовавшие на Малой земле, с одного взгляда установили, что "передовая" та находилась в семидесяти километрах от переднего края, но для него, не постыдившегося принять Звезду Героя за не известные никому подвиги, - и там была передовая.

Однако война-то и бои происходили чуть впереди, и о них, об этих боях, о подлинных окопах и воинах надо говорить всю правду, пусть иногда и горькую -

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
великая дата – 40-летие Победы обязывают к этому нас и все человечество. Мы достойно вели себя на войне и достойны не только благодарности, но и самой высокой, самой святой правды, мы и весь наш многострадальный, героический русский народ на века, на все будущие времена прославивший себя и трудом, и ратным делом.

1985

Послесловие к "Воспоминаниям солдата"

Ах, как в строку, к разу, казалось мне, к месту вставил я слова о правде на войне, забыв о том, что с войны каждый боец и офицер привез свою личную правду, а генералы и тем более маршалы приволокли свою правдищу, да такую огромную, исключительную, что она загромодила собой правду истинную, заслонив быть небывало и все военное лихо и почти каждый из них спешил рассказать о себе, хорошем, о своих подвигах – и вот те на: какой-то солдатишка-обмоточник высунулся со своей окопной правдой, и она никак, ни с какого бока с генеральской не сходится, да еще и напечатанной в "Правде", в той самой газете, единственной, которую они почитали, знали и знают, а других и знать не хотят.

Привыкшие повелевать, командовать и направлять, генералы и маршалы не почувствовали, да и чувствовать не желали ветер перемен в стране. Уж больно удобно, сытно и вольготно им жилось до пенсий высоких и хлебных, а на пенсиях уж одна и забота осталась – писать мемуары да строчить опровержения в газеты.

Вот с опровержениями на мои заметки явились к редактору "Правды", Виктору Николаевичу Овсянникову, сразу аж шесть генералов и один маршал и, потрясая бумагами, гневно требовали немедленного опровержения, а редактор им на все это бушеванье усталый вопрос:

– Вам что, делать нечего? Совсем нечего?..

А ведь и нечего. Разве что хвалебные оды писать в честь очередного вождя, Хрущева или Брежнева. Но, опережая друг друга, уже отписались, самый молодой из командующих армий Москаленко написал хвалу Брежневу, когда уж тот часовал. Успел-таки, зарегистрировался, по-подхалимничал товарищ Москаленко и, кстати, напечатал панегирик свой все в той же "Правде", а то ведь те, кто раньше это сделал, душу вытрясут.

Тучи беспризорных детей, нищета в домах престарелых, стремительно разбежалась и поумирала русская деревня; в близкой им сфере – военной промышленности – царит очковтирательство и казнокрадство, там по 15–20 лет гонят в "трубу" огромные государственные средства, выпуская дорогую продукцию устарелых образцов; идет небывалое истребление природы, расхищение сырьевых ресурсов – кругом полно дел и забот, а эти воители лампасами трясут, по редакциям бегают, в издательства взятки тащат, чтоб только увидеть свой мемуар напечатанным, а ныне вон, клацая вставными челюстями, с кровавыми знаменами бегают, желая вернуть столь им милое прошлое, и ради него, выжив из ума, готовы кровь проливать. Не свою. Народную. Иль, выполняя "патриотический долг", установить негласное дежурство у мавзолея, чтобы втихаря не вынесли и не закопали бы в землю их последнего любимого вождя – оплот мракобесия, человеконенавистничества и партийного фиглярства.

Но... но, кроме генералов и маршалов на русской земле жило и живет кое-какое население (хотя вельможным пенсионерам и направителям жизни, этим вечным дармоедам-обывателям кажется, что на земле, кроме них, никого нет и что история с них началась, ими и закончится).

На десяток гневных генеральских отповедей дерзкому солдату и опровержений в газету хлынул поток писем от тех, кто воистину спасал Родину, выполнял свой долг – целый чемодан писем, который я сдал в Красноярский краеведческий музей. Солдаты, сержанты, офицеры – окопники с удивлением, радостью и волнением писали, что поражены тем, что солдата с его воспоминаниями напечатали. И где! В "Правде"! Значит, воистину грядут перемены, потому как дальше так жить невозможно. Целые исповеди – рассказы о себе, о походах и боях, о трагедиях войны – разбитых судьбах, просьбы помочь в бедственной жизни, послать "бумагу" куда надо, помочь с пенсией...

Ах, как далека эта людская исповедь от генеральских отповедей и вельможных забот

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
о себе и своем благополучии. Я и по себе знал, что отцы-генералы, партия и правительство предали своих воинов-спасителей и двадцать лет о них не вспоминали в будни, в жизни, лишь по праздникам славословили и хвалили себя. Ни о живых, ни о мертвых не думали, не вспоминали, по полям и лесам белели косточки русские, в литературе, кино, театре прославлялась совсем другая война, та, на которой мы не были и быть не могли. Царил обман и демагогия, воровство, предательство - товарищ Варенцов, будучи уже маршалом, в Генштабе заправлял всей ракетно-артиллерийской мощью страны, запятнавший себя воровством еще на фронте, нанимается в осведомители матерому шпиону Пеньковскому. Они разом продают пол-России. И ничего. Генералишко, видать, и прежде умом не блиставший, этакий приштабной лизоблюд, гневно пишет мне: "Партия и правительство сочли возможным за прошлые заслуги понизить товарища Варенцова до генерал-лейтенанта, сохранить за ним половину денежного довольствия..."

И невдомек генералишке, что кремлевские старцы из политбюро - сами воры и мошенники, не шибко обижая и наказывая преступный кадр, надеются, что и их, согнанных с уютных мест, тоже "пожалуют" и пенсии высокие сохранят. Так оно и вышло: целые генеральские и правительственные городки, построенные в Подмосковье и по всей России. На какие шиши, спрашивается?!

Долго шла буча вокруг моих заметок, долго, долго лампасники дерьмом исходили, но все в конце концов улеглось, хотя любимцем наших генералов я не стал и надеюсь, что и не стану.

Я не мог оставить безответно письма фронтовиков, немногим хотя бы открытку послал и написал обзор писем. Но в "Правде" уже сменился (или сменили) редактор, и мой обзор не стали печатать и вообще туда больше не приглашали. Пришлось мне его опубликовать в "Литературной газете".

И снова письма, письма, письма.

Я печатаю этот обзор под названием "Да пребудет вечно" следом за этим послесловием. И читатели сами убедятся, сколь наивен и даже патриотичен этот материал. Мы все же далеко отплыли от той прогнившей пристани, сплошь украшенной красными флагами, бодрыми лозунгами, зовущими в светлую даль. Кто как, а я в "ту даль" больше не хочу и верю, что возврат к ней вообще уже невозможен.

Да пребудет вечно...

В жизни моей случались и случаются такие совпадения и встречи, что впору от них суеверным сделаться и начать думать о небесных материях, да вот земные грехи не пускают.

25 ноября 1985 года в газете "Правда" были напечатаны мои воспоминания "Там, в окопах", и я, признаться, не ожидал, что на них хлынет бурный поток откликов.

За несколько месяцев откликов набрался полный чемодан, а я, как и всякий современный человек, задерган текучкой, изведен суетой, кроме того, вынужден это сообщить моим корреспондентам, - тоже инвалид войны, и со зрением дела у меня обстоят неважно, а письма-то писаны всякими, порой уже "пляшущими" почерками. Да и, как сказал один русский классик, нигде так и не умеют мешать работать писателю, как в России, добавив, впрочем, что русские писатели и любят, чтоб им мешали.

Говорил это классик в ту пору, когда не было еще телефона, не летали самолеты и безграмотное общество не наплодило тучи графоманов, самоучек-социологов, дерзких и диких философов, новаторски мыслящих экономистов, уверенно предлагающих немедленно и без потерь наладить хозяйство и попутно улучшить мораль в любезном Отечестве.

Словом, шло время, письма покоились в чемодане, авторы же, участники войны, ждали "реагжа" на свои письма, а то и просто обыкновенной человеческой помощи и участия.

Узнав о моей скорбной ситуации, один давний приятель, руководитель крупного предприятия, предложил мне спрятаться в таежном пионерлагере, принадлежащем его ведомству.

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Пионерлагерь зимой пустовал, лишь две собаки, дружески настроенные к гостям, и строгость на себя напускающая сторожиха встретили меня. Сосняки кругом шумят, снег белый-белый, тишина необъятная, и не верится уже, что бывает такое.

Обходя территорию пионерлагеря, очень строго и "по ранжиру" строенного, в котором, несмотря на грибки, качели и всякого рода спортивные сооружения и деревянные скульптуры, явно проглядывали признаки строгого, к шуткам не склонного военного поселения, идя по зимней тропе на пологой вершине меж давненько уже вырубленных сосняков, я обнаружил заброшенное, безоконное и немое сооружение из бетона, спросил о нем у сторожихи. Она словоохотливо объяснила, что это "бункар", но какой-то "врах сотворил изменшество", солдатиков, "бедных, зимой, в морозяку, кудысь увезли, а теллиторию дитям подарили".

Ну, врагами, изменщиками, шпионами, хриstopродавцами и прочей нечистой силой меня не удивишь, сам есть Отечества моего сын и чуть что, как и все россияне, горазд бочку на них катануть. Но каково же было мое потрясение, когда, открыв чемодан, я обнаружил прямую связь этого заброшенного военного сооружения с содержанием писем!

Впору было на весь пустой пионерский дом завопить: "Свят! Свят!" Но я не завопил, сидел подавленный и в одиночестве, под шум зимней тайги вспоминал своего фронтового командира отделения, который в послевоенные годы был и рабочим, и секретарем райкома, и крупным хозяйственным деятелем. На войне это был честнейший и мужественнейший человек, таким он остался и "на гражданке". Когда я был у него в гостях, по телевизору сотворялось очередное действие: под умильные слова, елейные улыбки и бурные рукоплескания Брежневу вручалась очередная, не заработанная им награда, и возопил мой фронтовой друг: "Да до каких же пор нас будут унижать?" И ответил я фронтовому другу: "До тех пор, пока мы будем позволять..."

Но вернемся к чемодану с письмами. Большинство авторов, в основном бывших фронтовиков, благодарили меня и газету за публикацию, делились своими мыслями, воспоминаниями, кое-что дополняли и уточняли. Были письма-исповеди в тетрадь и более величиной, столь интересные, от сердца и сердцем писанные, что хотелось бы привести их полностью, но нет пока места и времени. Однако я обещаю, что все заслуживающие внимания письма, и прежде всего письма моих однополчан, как только выдастся время, обработаю и пристрою в какой-либо журнал. И все письма непременно сдам в архив. Пусть внуки и правнуки наши читают их, гордятся одними авторами и стыдятся за других.

...Сначала отвечу на некоторые замечания.

Самое главное из них: под Ахтыркой не подбивала наша 92-я бригада восемьдесят танков, и быть такого не могло. Командир 108-й бригады нашей 17-й артдивизии, ныне полковник в отставке Реутов Владимир Дмитриевич, проживающий во Львове, в спокойном, обстоятельном письме поправляет меня: 85 танков атаковало позиции 92-й и 108-й бригад. 92-я бригада тремя дивизионами уничтожила 20 танков, бригада, которой командовал Реутов, - 10 танков. Это был первый такой страшный бой на моих глазах, и я как вспомню восемнадцатилетнего парнишку, имеющего мой облик, находившегося в огненном аду целый день, так еще и удивляюсь, как ему сто горящих танков не привиделось!

Второе резкое замечание о том, что 17-я дивизия формировалась в 1943 году и не могла быть в боях раньше, не согласуется с фактами. Артиллерийская дивизия прорыва - сложное механизированное соединение, его за короткий срок не сформируешь. Я полагал, что военные специалисты понимают это, - и понимают, конечно, но цепляются за любую возможность "ущучить" автора. Весной 1943 года было закончено формирование 17-й артдивизии, но отдельные ее полки и бригады уже в 1942 году осенью принимали участие в боях на Волховском фронте, и начальником штаба артиллерии фронта был будущий командир этой дивизии полковник Волкенштейн.

Есть и еще ряд мелких поправок, которые за недостатком места я опускаю. И среди них упрек, что я неуважительно описал приезд маршала Жукова на передовую. Но именно из уважения к покойному полководцу я опустил из описания все, что происходило потом, после начала встречи его с командирами, которых он вызвал к себе.

Много не только горьких, но и теплых чувств пробудили во мне письма. Например, я



Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
писал о том, что Герой Советского Союза Иван Михайлович Шумилихин, уроженец Вологодской области, убит и похоронен подо Львовом. Слышал я об этом на встрече ветеранов нашей дивизии, и память не очень-то меня подвела. Иван Михайлович Шумилихин погиб под Берлином, не дожив полмесяца до Дня Победы. Благодарные его друзья отправили тело героя на родину, и прославленный командир похоронен во Львове на холме Славы. Номер его захоронения 22. Участник войны Нина Михайловна Бабинцева прислала мне на память книгу "Холм Славы" и сообщила, что после появления в печати добрых слов о Шумилихине не переводятся живые цветы на могиле героя.

Но есть письма - их двадцать, - о которых мне хочется поговорить особо. Они принадлежат людям со званиями генералов и полковников все более тыловых и штабных служб. Авторы их высказываются пространно, суконным языком рапортов и докладных, но большинство хотя бы не унижает бранью свои высокие звания. Встречаются, однако, и такие письма, что белая бумага краснеет от высокомерного тона, надменности и спеси авторов. Письма эти пестрят одной и той же буквой "я! я! я!" - "я там-то и так-то воевал!", "я того-то и того-то знал!", "я две академии кончил!". И в конце приписка "Извените за ошипки".

Не стану перечислять всех авторов подобных писем, пощажу старость и покой заслуженных людей. Не все уже "по уму" действуют, больше по старой привычке повелевать и опровергать все, что на глаза попадет, а уж писанное бывшим бойцом - тем более. Но скажу о том, что во многих случаях вызвало гнев моих оппонентов и что представляется мне принципиально важным.

Самый большой упрек читателей я заработал за то, что не назвал фамилии командующего артиллерией 1-го Украинского фронта: "Ратуешь за правду, а сам в кусты!.."

Тот материал писал я к Дню Победы. И - каюсь! Искренне каюсь - не хотел марать чистую бумагу во дни светлого и скорбного праздника фамилией человека, опозорившего себя, должность свою высокую и честь советского воина.

Что же говорится о нем в откликах? процитирую Степана Ефимовича Попова из Москвы. Звания своего он не написал. Не из скромности. Таким "недостатком", судя по высокомерности и непреклонности тона его письма, он не страдает.

Вот что пишет о С. С. Варенцове, командующем артиллерией 1-го Украинского фронта (фамилии которого я не назвал), тов. Попов: "Мы, артиллеристы, знали С. С. Варенцова как крупного артиллерийского деятеля, знали мы и Волкенштейна как мелкого интригана... Безусловно, Варенцов на старости лет провинился, и государство его наказало, но оставило его генералом и членом КПСС, и мы, старые артиллеристы, помним генерала Варенцова довоенного, фронтового и послевоенного как трезвого, отзывчивого и глубоко мыслящего человека, а Волкенштейна бывшие его однополчане не знают даже, где он похоронен".

"Это был умный и талантливый полководец, - вторит С. Е. Попову полковник в отставке В. А. Кашин, - он пользовался большим авторитетом и уважением... Это был неприхотливый, скромный человек в быту и очень доброжелательный к людям..."

И в таком же роде еще несколько писем, с умилением повествующих о жизни и деятельности бывшего Главного маршала артиллерии Варенцова. Просто сомневаться начинаешь в достоверности горького рассказа командира 17-й артдивизии - уж не наплел ли чего старый насчет фронтовых дел и насчет того, что, дослужившись до маршала, даже при множестве дел в Генштабе Варенцов не забывал "обидчиков" и того же Волкенштейна "достал" мстительной рукой в артиллерийской академии, где он работал преподавателем после войны, и вышвырнул вон все в том же звании генерал-майора, которое было ему присвоено еще в начале 1943 года.

Давайте же послушаем тех, кто близко знал Волкенштейна и Варенцова с довоенных лет. Директор Сахалинского краеведческого музея Владислав Михайлович Латышев пишет ко мне: "Когда С. Волкенштейну был год, родители привезли его на Сахалин, к бабушке Людмиле Александровне Волкенштейн, известной революционерке-народнице, отбывавшей здесь ссылку после 13-летнего заточения в Шлиссельбургской крепости. По какому-то исторически оправданному совпадению в 1942 году Сергею Сергеевичу Волкенштейну доведется подготавливать и вести артподготовку и бои в районе Шлиссельбурга. За Людмилой Александровной добровольно в ссылку последовал ее муж, врач по профессии, Александр Александрович Волкенштейн. Сергей Сергеевич не

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) был потомственным артиллеристом. Его дед А. А. Волкенштейн известный последователь учения Льва Николаевича Толстого, а отец, Сергей Александрович, учился в Петербургском университете и за революционную деятельность был отчислен из университета и отослан под надзор полиции в Полтаву. Он рано умер, и почти одновременно с ним умерла мать Сергея Сергеевича. Бабушка Людмила Александровна погибла в 1906 году во время расстрела демонстрации во Владивостоке. Сергея Сергеевича взяла на воспитание друг семьи Волкенштейнов, дочь известного врача Склифосовского О. Н. Яковлева-Склифосовская".

"Старый строй убил его мятежную бабу, - пишет журналист Георгий Миронов в книге "Командир дивизии прорыва", выпущенной в серии "Богатыри" о Героях Советского Союза, - изломал жизнь его родителям, самого лишил детства". Ранней весной восемнадцатого года С. С. Волкенштейн записался добровольцем в Красную Армию, в девятнадцатом году его приняли в ряды РКП(б)...

Далее слово В. Г. Татарову из Днепропетровска:

"В 1929 году я - курсант батареи одногодников (были такие подразделения по подготовке среднего состава). Командир батареи С. С. Волкенштейн, Человек с большой буквы, прямой, честный, справедливый, безгранично преданный делу своей жизни...

Когда полковник Волкенштейн был нач. артдивизии 6-го стрелкового корпуса, ему был подчинен начальник артиллерии 41-й стрелковой дивизии, которая входила в состав корпуса, и командовал артиллерией дивизии полковник Варенцов - этакая импозантная фигура. Самодовольный, высокомерный, хитрый, скрытный, не шибко грамотный артиллерист. Это тот самый Варенцов, что позорно кончил свою карьеру, оказавшись замешанным в громкое дело английского шпиона Пеньковского..."

"...Вместе с Вашей дивизией Вы найдете в мемориале в Петривцах написанную золотом на стене и нашу 3-ю Гвардейскую минометную дивизию, где я был в должности начальника автотехнической службы... В конце войны, когда мы были уже в Германии, я получил указание выделить в распоряжение фронта десятков автомобилей с двумя заправками горючего. Когда машины и команда, сопровождавшая их, вернулись, я узнал, что они возили каменноугольные брикеты на дачу Варенцова во Львов. Оказывается, этот подлец (другое слово трудно подобрать) во время львовской операции прихватил себе буржуйскую виллу и оформил ее как личную собственность... И сколько же честным людям он испортил жизнь!... Инвалид Отечественной войны, полковник в отставке Владимир Васильевич Павлов. Москва".

Как раз во время работы над этими заметками я получил альбом от нашего однопольчанина из Москвы Алятина Александра Константиновича, посвященный любимому командиру. Этот альбом включает некролог, напечатанный в газете "Красная звезда" 24 мая 1977 года, и фотографию с памятником на могиле Сергея Сергеевича Волкенштейна, возле которого собрались ветераны дивизии, ибо жена его и сын к той поре умерли, родственница у него осталась одна, племянница Комракова Наталия Давыдовна. Она была возле постели умирающего генерала и вот что написала мне: "В последние дни мы много говорили. Он вспоминал своих "парнишечек" и говорил, что войну одолели и Победу добыли те самые ребята, что четыре года в снегу, в грязи, в земле жили, работали, а я вот умираю, смотри, в какой чистоте. Говорил, что всю жизнь хотел, как его дед-толстовец, не убивать людей, но вот все повернулось так, что Родине надо было служить, быть военным и воевать..."

Великий русский деятель истории, Гражданин и Мыслитель с большой буквы сказал когда-то по поводу великого русского царя - все они у нас великие! который недругов своих, подозрительных людишек, а попутно и разлюбленных жен живьем закапывал в землю, но в глазах потомков возжелал выглядеть ангелом и "редактировал" рукописи о себе способами и методами, дожившими до недавних времен и хорошо нам знакомыми: "Народ обмануть можно, историю не обманешь!" А какое есть жадное стремление у некоторых наших старших деятелей, и не только военных, не то чтобы обмануть, а попрятать кое-что, подзамолчать, жить полуправдой или угодной, любезной их сердцу "генеральской" правдой. "Солдат, так и пиши о солдатах!" - покрикивает мне тов. Попов и другие постаревшие чины. Так им удобней, лучше, спокойнее доживать свои годы. Но: "кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу..." - перед смертью воскликнул великий поэт нашего времени Александр Твардовский.

В газетных дискуссиях перед XXVII съездом партии и на самом съезде немало

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
говорилось о том, сколь вреда принесла нашему обществу полуправда, как исказила она наше общество, сбила его с ноги, сколько породила вора, шкурников, карьеристов, демагогов, которых хлебом не корми, дай спрятаться за ширму красноречия, привычного пустословия. Отставные военные, праведно гневающиеся на то, что я состарил в своих личных заметках гаубицу на два года или назвал командующего артиллерией начальником, делают вид, что забыли о совсем недавнем времени, когда заслуги армии под номером восемнадцать и, главное, начальника ее политотдела возносились до такой степени, что невольно вспоминалась притча о том, как один польский улан до того разошелся, повествуя о своих военных подвигах, что малая паненка внучка его – невольно воскликнула: "деда! Если ты всех врагов победил, все армии разбил, что же тогда делали на войне другие солдаты?.."

Видно, "элита элиту" лелеет и хочет любимыми способами сохранить за собой самим себе устроенное житье. Да чтоб литература и искусство, как "столбовой дворянке" по велению золотой рыбки, служили им и чтоб про генералов непременно писали генералы, а профессионально работающие литераторы "корректировали" их "труды", исправляя грамматические "ошипки", и выдавали народу "бесценные" подарки в виде опусов о целине, Малой земле и прочих осчастливленных ими землях и бессмертных деяниях.

Напрасно рассерженные корреспонденты хотят убедить меня в том, что мы, рядовые бойцы, на фронте ничего не знали, не слышали и не видели. В нашей бригаде солдаты, даже не видевшие командующего 7-м артиллерийским корпусом королькова Павла Михайловича (не видел ни разу его и я), тем не менее много были наслышаны о безмерной храбрости и скромности этого замечательного человека.

И вот передо мной письмо бывшего наводчика орудия, ныне рабочего Михаила Антоновича Тупихи, проживающего в Краснодаре: "Я уже два года переписываюсь с командующим, проживающим в Одессе. Заезжал к нему. Принял он меня очень хорошо. Хотя годы его перевалили на девятый десяток, он переписывается со многими ветеранами 7-го корпуса. Но дом, в котором он живет, обветшал, требует капитального ремонта, жаловаться-то Павел Михайлович не привык..."

Иные авторы из генералов все еще вроде бы как находятся на командном пункте и нас, литераторов, считают ротными писарями, которые должны составлять под диктовку рапорты и боевые донесения, а если посмеешь свое суждение иметь, тут же отповедь тебе насчет врагов-империалистов, "на мельницу которых ты (то есть я, Астафьев) льешь воду и ослабляешь мощь наших Вооруженных Сил. Да и какой пример подается нашей молодежи?"

Генерал-майор в отставке Зайцев, бывший начальник штаба дивизии, вместе с еще двумя работниками фронтового тыла пишет почему-то от имени "бывших солдат" десятой и сто восемьдесят первой гвардейских дивизий, заключая свое письмо таким вот "неустрасимым" возгласом: "Ваша затея мартышкин труд! Мы били их (врагов) трехлинейкой, а в случае нужды ракетой побьем запросто!"

Какая живучая все-таки песня "Если завтра война, если враг нападет"! И не стыдно, оказывается, некоторым товарищам, что под бравурные слова этой песни сибирские дивизии и плохо вооруженное ополчение неисчислимо легли в подмосковную землю. Слезы на глазах уже редких вдов наших до сих пор не обсохли, ранние могилы солдат, детей и инвалидов травой еще не совсем заросли, старые раны не отболели, на головы, обряженные в парадные генеральские картузы, какие-то чужеземные загулявшие самолеты садятся, а brave Зайцевы все те же нам песни поют про "непобедимую трехлинейку" да еще про непробиваемый ракетный щит!

Я читал эти письма и листал газеты с беседой М. С. Горбачева по советскому телевидению: "...мир в своем развитии вступил в такой этап, который требует новых подходов к вопросам международной безопасности. Нельзя сегодня, в ядерно-космическую эру, мыслить категориями прошлого... И сейчас вопрос уже стоит не только о сохранении мира, но и о выживании человечества".

А о том, какой пример подается молодежи, за меня ответит письмо Марка Соломоновича Эльберга: "Нас, ветеранов третьего Сталинградского Гвардейского мехкорпуса... пригласили в Волгоград к 40-летию Сталинградской битвы. Состоялась встреча с учащимися подшефной средней школы, восстановленной еще во время войны на средства, внесенные воинами нашего корпуса... Все было торжественно. Нас приветствовали школьники, а ветераны рассказывали эпизоды Сталинградского

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
сражения, о подвигах воинов. Спустя время, уже вне класса, в коридоре подходит ко мне группа учащихся во главе с председателем пионерского отряда и говорит: "Много в наш город приезжает ветеранов, рассказывают подобное тому, что рассказывали сейчас вы, но как поговорим с ними отдельно, в стороне, то слышим совсем другое. А мы хотим знать, что было на войне в самом деле". Я остолбенел! Полчаса назад ими, учащимися, было выражено столько восторгов по поводу нами рассказанного, а оказывается, под всем этим лежал груз сомнений..."

Кабы он "лежал", это "груз сомнений". Увы, он "работает", ибо всякая ложь, сокрытие истины растлевают души людей, лишают доверия молодежь, которая порой презрительно относится к тому, что говорится и пишется нами, ветеранами.

А что касается совета: "Солдат, так и пиши о солдатах", - я охотно его принимаю и хотел бы всю жизнь вдохновляться примером создателя величайшего шедевра мировой литературы - "Дон Кихота". Четыреста лет назад сочинил его солдат-инвалид Мигель де Сервантес Сааведра, и начал он эту гуманнейшую из гуманных книг сидючи в тюрьме. И вообще я всегда охотно следовал и следую совету Максима Горького - больше учиться. Но не принимал и никогда не приемлю полубарские замашки и этокое небрежно-снисходительное отношение к солдату. Забыли некоторые военные чины, что армия-то у нас все же рабоче-крестьянская и как солдаты, так и командиры вышли не из баронов и графов, а все из того же трудового народа.

Не могу умолчать и еще об одном совете. Содержится он в письме полковника в отставке Н. Н. Полякова из Москвы и еще в нескольких письмах: писать с "партийных позиций, на основе документальных данных, как это делали и делают писатели К. Симонов, И. Стаднюк, В. Быков".

Видно, наши бурные, часто вздорные перепалки и маломысленные творческие дискуссии породили у обывателей мнение, что мы, советские писатели, живем совсем разобщенно, готовы порвать друг друга, и поэтому я вынужден привести цитаты из писем двух уважаемых не только мною писателей и сказать, что, хотя и живу я в Сибири (но не в пустыне же Сахаре!), меня связывают со многими писателями, прежде всего фронтовиками, товарищеские, с некоторыми и дружеские отношения. Знаком я и с Иваном Стаднюком, раскланиваемся при встречах; не очень близко, но знал я и Константина Михайловича Симонова, встречался с ним незадолго до его смерти, имею от него добрые письма. Давно знаю Василя Быкова и помню, как жестоко били и умело травили его, тогда еще малоизвестного писателя, за роман "Мертвым не больно" - две-три подписи в "сердитых" письмах ко мне знакомы и В. Быкову. "Виктор, дорогой дружище! - пишет ко мне Василь Быков. - Как, наверное, и всюду сейчас в стране, в Белоруссии тоже звучит твое имя, связанное с двумя последними публикациями - в "Новом мире" и в "Правде". Здорово, верно и наконец-то! Кому-то давно надо было так сказать, и если это выпало тебе, то вдвойне правильно..." А вот выдержки из письма бывшего командира огневого взвода гаубичной батареи, ныне известного писателя: "Жму тебе руку за твое в "Правде" напечатанное, и по сути, и по боли, которая в каждой строке и за каждой строкой, - это и есть то главное, что должно было быть сказано, и сказал ты это с достоинством и с презрением к тем, кто нашу окопную, народную правду войны, великую кровью оплаченную, смел называть "кочкой зрения"... В литературе первых не бывает, это честолюбцы стремятся в первые. Но каждый подлинный писатель - единственный и неповторимый" Григорий Бакланов.

...В моих заметках было сказано о том, что наш любимый командир дивизиона Митрофан Иванович Воробьев был тяжело ранен и мы его с двумя обоймами к пистолету и гранатой вынуждены были оставить в Орининской школе, где временно размещался госпиталь. Когда закончился многодневный бой, мы уже не нашли оставленных там раненых.

Пропал, думаю, погиб Митрофан Иванович, вечная ему память! И вот среди откликов - письмо из Новохоперска Воронежской области от какого-то Воробьева. Начал читать - и сердце мое забилось радостно: жив! "Нас (жена Митрофана Ивановича, Капитолина Ивановна, была вместе с ним на фронте. - В. А.) глубоко тронуло, что ваша память сохранила события тех далеких огненных лет... Ранение, которое я получил в том бою, оставило меня инвалидом на всю жизнь... Память почему-то сохранила больше тех, кто погиб на моих глазах. Вот наблюдательный пункт на ахтырском пшеничном поле, ужин, который привез начальник связи Коровиков. Вдруг самолет, бомбежка, крики, стоны. Командир разведки дивизиона Ястребов, смертельно раненный, говорит Капитолине Ивановне: "Товарищ врач, оказывайте

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
помощь другим, я – готов!" – и умер. Убит молоденький разведчик (фамилии не помню). Душераздирающе кричит командир отделения связи – перебит позвоночник.

В другом районе страшное ранение в живот получил уже другой командир отделения связи, бежит на наблюдательный пункт, а кишки висят, волокутся по земле, он их руками заправляет в распоротый живот... Выжил! Я его в 1946 году случайно встретил в Пензе – едва ходит, торгует иголками. Обнялись мы с ним, расцеловались... Стоит перед глазами командир батареи Зайцев, убит в деревне Телячье, под Волховом (убит, добавляю я от себя, почти в первом бою, самый видный и красивый, самый храбрый и боевой командир, которому на роду было написано быть любимцем и героем. – В. А.). Сидит под деревом, помню, как живой, только капля крови запеклась на шее, возле сонной артерии, рана – с игольное ушко. Другой командир батареи стоял рядом, шальная пуля прошла грудь через сердце, навывает. Я ясно слышал ее удар в тело, как галька издает звук, вертикально брошенная в воду, и последние слова; "Отжил Василий Иванович на белом..." – и осел".

Ах, война, война... Болеть нам ею – не переболеть, вспоминать ее – не перевспоминать! И все-таки не могу отложить в сторону одно письмо. Какой светлый и, не побоюсь "крайнего" слова, нежный образ встает за строками, написанными Парасковьей Петровной Бойцовой, награжденной на фронте орденами Красной Звезды, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги", ныне работающей стенографисткой в Калининском облисполкоме.

"По возрасту я ваша ровесница, одинаковая с вами военная специальность – связистка, в 44-м Гвардейском артиллерийском полку 16-й Гвардейской стрелковой дивизии. Прошла с боями из Подмосковья, огненную Курскую дугу, Белоруссию, Прибалтику, Восточную Пруссию... Пути войны, нелегкие для мужчины, во много раз труднее для девушек-фронтвилок. Сейчас невозможно представить, как мы могли жить, и не один год, имея всего имущества шинель да плащ-палатку. За все время пребывания на фронте я не припомню, чтоб хоть ночь между боями мы провели в жилом помещении. Землянка узла связи – в ней невозможно встать, со стенок сочится, под ногами хлюпает грязь, в которой день и ночь чадит узенькая полоска шинельного сукна, опущенная в горячее. Отсидишь смену – только зубы белые.

Мы, 17-18-летние девушки, не принимали скидки ни на молодость, ни на слабый пол. Лично я постоянно находилась во взводе связи, среди солдат разного возраста, рядом ни мамы, ни подружки, постоянно контролируешь свой каждый шаг, каждое слово. Я по пальцам на одной руке могу пересчитать, сколько раз мылась в бане (в землянке, во время недолгой передышки в боях). Даже летом, недалеко от реки находясь, разве можешь искупаться, если кругом одни мужчины...

День своего рождения забывала каждый год. В 1944 году замполит полка Расщепкин сказал, что нынче-то обязательно отмечен будет мой день рождения – как-никак двадцать лет! Но началось наступление, тяжелые бои, большие потери...

В 1945 году в полку решили торжественно отметить 8 Марта. Стояли мы тогда в городе Бергау под Кенигсбергом. В полку было шесть девушек: военфельдшер, две телефонистки, две радистки и повар. Мы никогда не видели друг друга – фронт не место для прогулок и в гости не пойдешь. Командир полка разрешил девушкам быть в гражданском платье. Я посмотрела свой гардероб: ватные брюки, застиранная добела гимнастерка, стершиеся сапоги. В таком виде на праздник? Но молодость есть молодость! Всем хочется быть красивыми и нарядными. Я принесла свои рваные сапоги старшине, попросила отвезти их в ремонт, взамен получила ботинки 45-го размера.

Началось торжество. Замполит Расщепкин, видя, что меня нет, идет в наш подвал и, отвернув плащ-палатку, громко спрашивает: "Почему?! – но увидел мои ботинки, опустился рядом со мною на нары и мог только произнести: Да..."

Не обходили нас и взысканиями – у меня до сих пор остались неотработанные шесть нарядов вне очереди..."

Дорогая, далекая, милая женщина Парасковья Петровна! Пусть эти наряды вне очереди отрабатывают мужчины, желательно те, которые их вам вlepили. А я целую ваши руки и в "лице их" целую руки всех женщин, беззаветных наших тружениц, самых стойких, самых терпеливых, самых мужественных героинь войны.

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Желаю всем моим собратьям по окопам того же, чего желаю себе на исходе лет: хотя бы сносного здоровья, незакатного солнца на мирном небе, радости во внуках и правнуках...

А благодарная и благородная память, верую, да пребудет с нами вечно!

...Пустующий бункер в таежном пионерлагере приспособлен под овощехранилище, и у меня возникла дерзкая мечта: вот бы все бункеры во всем мире – да под картошку бы!...

1987

Ответ на анкету журнала "Москва" к 40-летию Победы

Для меня, бывшего окопного солдата, День Победы – самый печальный и горький день в году. Уже за несколько дней до праздника мне тревожно, я не могу найти себе места, мне хочется попросить у кого-то прощенья, покаяться перед теми, кто уже сгнил на бескрайних полях России и в чужом зарубежье, молиться Богу, если Он есть, чтоб никогда это больше не повторилось и мои дети и внуки жили бы спокойно, на успокоенной земле, история которой являет собой позор безумия и безответственности перед будущим и прежде всего перед нашими детьми.

Я не могу смотреть телевизор в День Победы. Он забит хвастливой, разряженной толпой каких-то военных парадных кавалеров и краснобаев, обвешанных медалями, и когда среди них провернется, "для разрядки", инвалид-горемыка, показывают документы и кинохронику – слезы душат меня, и я часто, как и многие окопники, хватившие нужды и горя не только на войне, но и после войны, не могу совладать с собой, плачу и знаю, что во многих семьях дети и внуки уже не пускают к телевизору нашего брата – солдата, боясь его слез, сердечных спазмов и приступов.

Хвастливое, разухабистое действо в День Победы особенно кощунственно выглядит в исполнении наших генералов и маршалов. Им бы встать на колени посреди России, перед нашим народом, выбитым на войне, и просить прощенья за бездарность свою, за холопское исполнение дикой воли главнокомандующего, за браконьерство, учиненное в войну с русским народом. А вот маршал Белобородов, так и не одолевший уровень начальной школы, хотя и "прошел академии", и хвастающийся своим батрацким происхождением, со слезами на глазах вещает о том, как одержал "первую победу" под Москвой, освободив город Истру и как отважные солдаты, по горло в ледяной воде, шли через реку Истру.

Как же этим можно хвастаться? Дело происходит под Москвой. Кругом деревни с деревянными строениями, телеграфные столбы, сады, леса, хоть обмотками бы связать плоты, да просто за бревно держаться, а у него солдаты идут, да не идут (врет он, врет!), гонят их по горло в воде. Его, сукиного сына, надо было судить за такую "победу", а он маячит в телевизоре, бахвалится, и ведь не от одной тупости бахвалится, он упоен опытом "руководства" войсками.

На Днепре переправы были тоже не подготовлены, тоже на "подручных средствах" отважные солдаты плыли на смерть. И сколько их доплыло?.. Я-то знаю, как и сколько, сам плавал и тонул в Днепре... Вот бы и назвали хоть раз правдивые цифры, правду бы сказали о том, как товарищ Кирпонос в 1941 году бросил пять армий на юге и как 11-я армия Манштейна перебила все, что было у нас в Крыму. Без флота, с отдаленным тылом, оставив на время осажденный Севастополь, "сбежал" Манштейн и под Керчь и опрокинул в море три армии под "героическим" руководством любимца "отца народов" тов. Мехлиса.

Но этого не будет. Будет гром, музыка, умильные обнимания, подстроенные встречи, "неожиданные" открытия героев и героических дел, прекраснотушное будет, лжепредставление на военную тему и такое, что ущипнуть себя снова захочется и спросить: "Да полно! На какой же войне я-то был?!"

Мой близкий друг Иван Гергель, которого, впопыхах драпая, бросили раненого на поле боя товарищи офицеры, ходившие на рекогносцировку, и которого я уж в последний момент выдернул из-под наступающих танков, понимая, впрочем, опытным нюхом, что они по нам стрелять не станут, не до нас им, двух обмоточных солдатиков, потому как по опушке леса стояли сплошь батареи, брошенные нашими "доблестными" артиллеристами. А вдруг да не все расчеты убегли? Вдруг да лупанут под башню подкалиберным из полторасотки или из ста двадцатидвухмиллиметрового?

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Так вот, этот бывший солдатик, полтора года провалявшийся в госпитале, однажды при мне в городе Орске, на своей Родине, насмотревшись телевизора, горько заплакал: "Вот, Витька, как люди-то воевали, а мы че-о-о?.."

Есть и еще мой однополчанин в городе Темиртау – этот уж меня вынул с поля боя, умница, человек прямой, четыре созыва был секретарем райкома, а сейчас большой руководитель, много читающий, думающий, он спросил с обидой меня, глядя на телеэкран: "Когда, Витя, кончат нас унижать ложью? Когда вы перестанете врать?!"

И в День Победы, через журнал "Москва" я хотел бы задать расширенной его вопрос: "Когда нас перестанут унижать ложью? Когда мы перестанем врать? Когда наш многострадальный народ, утопивший фашизм в крови, проложивший и устеливший до Берлина путь телами своими, узнает правду о войне?"

Я уверен, что редколлегия журнала "Москва", в которой столько бывших воинов и честных писателей, несмотря на мое звание рядового, напечатает взволнованное и откровенное мое письмо в подборке ответов на единственный так лаконично, но емко сформулированный вопрос: "Ваш День Победы – 9 Мая 1945–1985 гг."

Желаю здоровья живым, святости, тишины и покоя павшим.

Прошу печатать ответ без сокращений и кастраций, я от них устал за сорок-то лет. Если не можете напечатать, бросьте мою бумагу в редакционную корзину и больше никогда не лезьте в мою изболелую душу, заключенную в тело, израненное на проклятой войне.

1984

Виктору Петровичу Астафьеву

Дорогой Виктор!

Прости великодушно, но напечатать твой ответ (да не ответ, а исповедь) на нашу анкету не можем. Я бы мог в каких-то местах с тобой поспорить, но не буду этого делать, потому что мне решительно не хочется во второй раз "лезть" в твою "изболевшую душу". Попробовал однажды сунуться в нее в связи с "Пастухом и пастушкой", а потом долго не мог избавиться от душевной отрывки, вызванной нашим отчуждением. Поверь, мне это больно. Больно потому, что люблю твое редкостное дарование, твое Слово, ну и, разумеется, тебя самого. Если б мне удалось сохранить дружбу с тобой, даже не дружбу (это уж слишком много!), но хотя бы ровные товарищеские отношения, я бы и этим был счастлив.

Три странички искренней исповеди большого писателя не заслуживают того, чтобы их бросить в редакционную корзину, как ты сам советуешь. Это было бы сверхкощунственно. Полагаю, что будет лучше, если они вернуться к тебе не захватанными чужими руками.

Твой Михаил Алексеев.

21 февраля 1985 г., г. Москва

Письмо дочери погибшего друга

Редакция журнала "В мире книг" предложила мне выступить на тему "Моя почта", полагая, видимо, что почта моя обширна. Нет, писем читательских я получаю немного, но, как правило, письма эти от думающих, умных читателей, и это меня радует.

Среди читательских писем есть одно, которым я особенно дорожу и которое стало как бы путеводной звездой в моей работе.

Первый рассказ свой я написал, полагая, что ничего не должен выдумывать, и потому сохранил фамилию, имя героя и т. д. и т. п. Возможно, произошло это не только по авторской наивности, но и как реакция на те многочисленные исторички на военные темы, которые тогда печатались косяком и ничего общего с войной, какую я видел, не имели.

Когда учился я на Высших литературных курсах в Москве, то как-то в разговоре с

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
друзьями-сокурсниками поведал смешную историю своего первого рассказа. Однако друзья мои не смеялись, а поругали меня за то, что я не послал свой рассказ семье погибшего товарища, о котором написал.

Я исправил свою оплошность и послал книжку в городок Тогул, что на Алтае, на имя писателя Николая Николаевича Чабаевского, так как запомнил название деревни, из которой происходил герой моего рассказа и мой фронтовой товарищ – Матвей Савинцев.

Николай Николаевич, живущий в том же районе, из которого произошел мой герой, сделал все, чтобы отыскать Савинцевых, и они отыскались.

Книжечку "Сибиряк" читали всей деревней, собравшись в сельском клубе. И плакали все, потому как в деревне Шумихе почти в каждом доме кого-нибудь не дождалось с войны и оплакивал всяк своих, слушая о гибели связиста Савинцева.

Имя моего героя присвоили пионерской организации села Шумиха. И вообще в деревне Шумихе получилось большое и горькое торжество, как мне потом сообщили.

Однажды получил я письмо от дочери Матвея Савинцева. Вот оно целиком. Ни одного слова не могу я сократить в этом письме, ибо кажется оно мне сильнее и лучше многих наших сочинений.

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Пишет письмо незнакомая Вам Валентина Савинцева.

Виктор Петрович, я не знаю, как мне отблагодарить Вас. Вы сделали для нас очень много хорошего. Вы написали книгу о нашем отце. Это нам великая память о нем. Это все, что осталось от него. Еще от него остался старый портрет – и все. Я плохо помню, но было это примерно так. Кто-то сказал, что кончилась война, или еще нет. Или наши подходили к Берлину. Мы с сестрой и мамой были в огороде, когда нам сказали. Мы так радовались, что придет отец, прыгали и радовались. А маме в это время вручили медаль "За доблестный труд". А через несколько дней маму вызвали снова в сельсовет. А она говорит: "Наверное, опять что-нибудь дают, прямо совсем некогда, а они вызывают". Это мы шли за коровой в поле. Мама шла с веревочкой. Вернулась в сельсовет.

Я как сейчас вижу этот сельсовет. Весь перекопился, крыльцо большое, но пола на крыльце нет, почему – я не знаю. У двери лежали две доски, чтобы можно было зайти в дом.

Я и моя сестра стояли на бревне и ждали, когда выйдет мама. Мы думали, что маме опять дадут медаль, и спорили: кому из нас носить ее. И вот вышла наша мама. Как увидела нас, так голосом и заплакала. А в руках у нее была какая-то бумажка. Мы тоже заплакали, хотя не знали, почему плачет мама, а она долго не могла сказать ни слова.

К нам много собралось людей, и все плакали, а я спряталась в сенях за дверь и там плакала.

Стали мы жить помаленьку. У многих не пришли отцы. Был сильный голод. Жили только на траве. Мама работала, а бабушка – это мать отца, с нами была дома. Бабушка все отдавала нам, а сама не ела. А когда садилась кушать, что-нибудь сварят, то мы ждали, когда первую ложку хлебнет мама и бабушка, тогда мы с сестрой начинали. Это мы договорились так с Зоей. Бабушка умерла, может быть, и от голода. Когда умирала, то кричала: "Уберите траву! Это она задавила меня!"

Незаметно так мы выросли, стали взрослыми. Мне исполнилось шестнадцать лет. Я пошла и получила паспорт. Школу бросила, потому что подружки поехали в город. Я с ними. У меня было всего одно платье. Днем работаю в нем, а вечером стираю и глажу, почти сырое одею и иду вместе с девочками в клуб.

А когда собрались, поехали в Барнаул. Я думала, что буду работать, зарабатывать деньги и куплю себе еще платье, а может, и два. Город я даже не знала – в какой стороне. Уехали. А когда приехали в Барнаул, не знали куда идти. Ночевали на вокзале. На квартиру нас не пускали, боялись, наверное, что чего-нибудь возьмем. С трудом устроились. Стали работать. А в тот же год, когда мы уехали из колхоза,



Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevictor.ru](http://astafevictor.ru)  
наши получили много хлеба и с тех пор стали жить хорошо. Это было в 1954 году. Только тогда колхозники ожили. А я и сейчас живу в Барнауле. Сейчас у меня семья. Муж, дочь и свекровь. С мужем мы живем хорошо. Работаем в одном цехе на строительстве и учимся в вечерней школе рабочей молодежи. Он в восьмом, а я в седьмом классах.

А сестра Зоя работает дояркой в колхозе, и мама тоже в колхозе, и брат Александр трактористом работает.

Простите, Виктор Петрович, что я столько много написала. Я даже не знаю, почему я Вам все это написала. Возможно, Вам это неинтересно.

Виктор Петрович, я много искала книжку "Сибиряк", но не нашла. Мне обещала принести одна женщина, но до сих пор нет. Мне так хочется прочитать и не знаю, где взять. У мамы есть, но ее читает сейчас все село. Ваш адрес выслали мне из дома, а им выслал Чабаевский.

Передайте привет Вашей жене и детям, если они есть у вас. Сейчас мы живем на квартире, а через месяц будем жить на своей. Сейчас строимся. К Первому мая приезжайте на новоселье.

\*\*\*

Надо ли комментировать это письмо? Добавлю лишь, что после такого письма уж не захочется писать для литературных снобов или для заморской публики, которую одно время почти уверили молодые, но ранние наши писатели, будто земля наша кишмя кишит мальчиками и девочками, не знающими, куда себя девать и что делать.

Большую, очень большую роль сыграло в моей писательской жизни письмо Валентины Савинцевой. Что бы я ни замысливал, что бы ни писал – всегда мысленно обращаюсь к ней и каждое свое произведение примеряю на нее, как платье, – подойдет ли оно ей.

И не знаю я другого смысла и другого счастья, чем писать для простых, но истинных тружеников нашей оплаканной и зацелованной земли. Трудом своим и жизнью они заслужили доброе слово, трепетную любовь нашу, и благодарное их слово есть высшая награда за наш нелегкий литературный труд.

1961

Там, где пролита кровь

Я воевал рядовым бойцом в составе 92-й артиллерийской бригады и последний раз был ранен в Польше, под крохотным, но старинным городом Дуклой, знаменитым лишь тем, что в нем родилась будущая жена Лжедмитрия Марина Мнишек, да еще тем, что здесь, возле этого городишки, в Карпатах, русские войска еще в империалистическую войну пытались перейти Дуклинский перевал, чтобы сразу же попасть в Словакию и поскорее кончить войну, но потеряли 85 тысяч солдат в горах и не перешли. Однако стратегические соблазны так живучи, что и в прошлую Отечественную войну русские войска снова решили перевалить горы и попасть в Словакию коротким путем. И, положив здесь 160 тысяч жизней, снова пустились наши генералы дерзким замыслом и двинули войско добиваться удачи в другом месте.

Там, в Карпатах, и я, мелкая песчинка в громадной буре, кружился и упал на твердую прикарпатскую землю, все еще скупко рожающую хлеб, овощи и фрукты, хотя и обильно полита она солдатской кровью, в особенности русской.

А человек уж так устроен, что его вечно тянет туда, где он пролил свою горячую кровь, как с годами тянет его в родные места, чтобы успокоиться возле родных могил. И все мне не было покоя, как нет покоя многим израненным и увечным воинам; всем им и мне тоже кажется: вот побываешь на месте ранения и что-то поймешь, обретешь успокоение, преодолешь тоску по своей молодости, оставшейся в пекле военных окопов.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В Польшу я попал спустя тридцать лет после Победы и, кстати, в Польше же и встретил его, этот Великий праздник, видел военный парад в Варшаве; сжимало мое горло слезами при виде слез польских ветеранов, прочел в газете ошеломившие меня цифры: за освобождение

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
Польша погибло шестьсот тысяч советских воинов и пятнадцать тысяч поляков.

Сколько изувечено здесь народу и, вроде меня, тяжело мучаются ночами болью старых ран – никто уже не сочтет, никто не подскажет, никто не проверит.

Мы выехали вдвоем с переводчиком из Варшавы на юг рано утром. Шофер Янек не признавал скорости ниже ста двадцати километров, и его "фиат" словно бы летел, стелился над отсыревшей от весенней влаги полупустынной в этот час автомагистралью. Янек был не только лихой, но и умелый водитель, а переводчик хотя и говорлив, но понятлив, он скоро уяснил, что то, что мне надо увидеть, я увижу и запомню и без его подсказок.

Польша была первым иностранным государством, которое я видел в своей жизни. Мы перешли границу в районе Перемышля в августе 1944 года, а в сентябре я уже выбыл из действующей армии, казалось бы, не накопив никакого "материала" для воспоминаний. Однако ж память человеческая есть сложный и таинственный, быть может, самый сложный и самый таинственный инструмент, который работает помимо нашей воли, подчиняясь каким-то необъяснимым законам сознания, а скорее всего даже подсознания.

Несмотря на то, что был я "захлопотанным" солдатиком-связистом, все время работал, бегал, падал, прячась от пуль и разрывов, все же кое-что видел, слышал и запоминал. Конечно же, лишь "кое-что" – солдату на войне, да еще связисту, созерцанию предаваться некогда.

И вот это "кое-что" подступало ко мне явственно, тревожило душу, бредило раны, тесно и больно было сердцу. Может быть, потому, что ехали мы в город Жешув, где должны были ночевать и где нас ждал ныне работающий в Москве в польском посольстве секретарем по культурным связям славный человек и писатель Збигнев Домино, вспоминал я, как неподалеку от Жешува, под городом Ярославом, бывал в роскошной усадьбе с огромным и тоже роскошным панским домом посередине и как там два "чокнутых" человека – наш солдат, по национальности узбек, и престарелый поляк – собирали под деревьями, на аллеях и возле прудов отбитые взрывами от мраморных и гипсовых фигур руки и ноги и пытались прилепить их обратно.

Я написал об этом рассказ "как лечили богиню", не лучший, к сожалению, свой рассказ. Во всяком разе сейчас я написал бы его иначе.

По телефону в Варшаву Збышек Домино сообщил молодым, звонким голосом, что он знает рассказ и что не далее как сегодня вечером я увижу и усадьбу Потоцких под Ярославом, в которой, по его мнению, и совершилось действие рассказа, и богиню ту, восстановленную и поставленную на место.

Ну как тут не волноваться?

А по обочинам дороги кипела весна и пенились яблони, груши, сливы; ясные всходы зеленых хлебов узкими платами покрывали пологие холмы, к югу все более круто и крупно набухающие; все чаще и чаще холмы эти обрезало впадинами и логам. А вот уж и ручей с пеной на губах скатился к дороге и нырнул под настил нехитрого, узенького мостика, возле которого в гуще серебристых тополей и набравших цвет каштанов утопал и как бы сросся со старым садом тоже старый кирпичный костел, по низу покрытый древней плесенью мхов, и к нему, мерно звонящему, стекался в одиночку и парами с ближних хуторов степенный, воскресно одетый люд. Через мосток, взявшись за руки, шли старый пан в заношенной конфедератке и высоко и аккуратно подобранных над башмаками широких портах и девочка лет восьми-девяти, в темном платье с глухим воротником, поверх которого топорщилась накрахмаленная школьная форма и сшитый по старой моде, похожий на белый весенний цветок, весь в складках и лепестках передничек.

Старый пан приподнял картуз, приветствуя нас; девочка, что-то ему с улыбкой говорившая, еще крепче сжала его крупную, крестьянскую руку, ближе прильнула к нему и, не переставая улыбаться, поглядела на нас, и я заметил, как светло и празднично сияли ее серо-голубые глаза урожденной славянки, и во взгляде ее почудилось мне возбужденное ожидание чего-то необычного девочка с дедом шли к заутрене, и дитя еще верило, очевидно, в чудо и святое Божье творение, а может, просто радовалась этому мирному утру, мирно цветущей земле, мирному и вечному небу над головой.

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Все чаще, все круче становились подъемы и спуски, древняя краковская земля краснела сухоземом и суглинками – приближались к Карпатам, и видно было, как тяжело и трудно давались и даются здесь человеку хлеб и жизнь. Уже сделались поля, щетинистой всходы, круче завинчивались кусты вдоль проселков и по оврагам, реже хутора и деревушки. Возле небольшой деревушки с уже частично заколоченными избами и заброшенным, каким-то увядшим, будто подсохшее дерево, махоньким костелом виднелась на хлебном поле склоненная фигура в выцветшей одежде и в белом, далеко заметном платке. Женщина-крестьянка полола вручную хлеб и, выпрямившись, отирая тыльной стороной ладони усталое лицо, усталым же и долгим взглядом проводила нас.

Скупая, жесткая земля, изнурительный крестьянский труд. Я никогда не видел таких маленьких, скудных полей и никогда не знал, что хлеба возможно полоть вручную. Не захватил или не запомнил, когда был парнишкой и дед еще был единоличником и обрабатывал крестьянский надел на Усть-Манской заимке, потом, при коллективном хозяйстве, у нас и привычки не было чего-то полоть. До сих пор сорнякам угрожают химией и какими-то сверхмощными агродостижениями и механизмами – вот и клубится туманом над необъятными полями пух осота да распирает от наглости, озорства и молодецкой силушки всякого рода сорняк, который угроз не боится, а признает лишь упорный труд, и уже на тучных полях Сибири, где с плутом и серпом неграмотные крестьяне брали до тридцати центнеров с гектара, пятнадцать центнеров пшеницы на круг – в радость.

Збышек Домино встретил нас в Жешуве бурно, по-родственному, угостил омлетом "по-жешувски", познакомил с представителями Общества польско-советской дружбы и умчал на машине куда обещал – в усадьбу некоронованных королей Польши – Потоцких. По пути мы заехали на кладбище павших воинов и положили букет цветов к подножию памятника молодого гвардейцу Ивану Туркеничу, погибшему под Дембицей, прах которого перевезен под Жешув после войны.

И вот мы в усадьбе Потоцких, обширной, роскошной и такой благолепной, что на вопрос Збышека – "Узнаешь? Узнаешь?!" – я кивал головой, а сам ничего не узнавал, все мне казалось ровно бы когда-то виденным, но во сне, в оглохшем, одноцветном и точно бы не моем уже сне.

Строгие аллеи были усыпаны белым цветом, густая зелень переплеталась над головой, в прудах и в ручье, сомкнувшем их между собой, плавали караси и красные заморские рыбки с такими яркими плавниками, что они скорее казались похожими на громадных бабочек, случайно угодивших в воду. По берегам цвели розовые цветы меж глянцево-блестящих листьев, напоминающие лотосы или что-то такое сказочное, и все здесь было как в тихой, дремотной сказке. Густоголосое пение птиц и неподвижно стоящие скульптуры на аллеях еще более увеличивали чувство сказочной замороженности.

А вот и богиня! Как бы в кокетливом испуге и удивлении прикрыв ладошкой зрелую, девственную грудь, стояла она в уголке возле беседки, склонившись белым ликом над маленьким зеркальцем пруда, и, глядясь в него, отражалась во всей чистой и прекрасной наготе меж белых кувшинок. Збышек все свое: "Ну, узнаешь? Ее-то хоть узнаешь?!"

"Нет, Збышек, не узнаю", – тянуло меня честно признаться польскому другу, волей прихотливой судьбы выросшему в Сибири и назвавшему свою книгу рассказов "Кедровые орехи". Но мне так не хотелось его огорчать, и я согласно кивал головой, а сам глядел и удивлялся земной красоте, величю природы. Вдруг до слуха донеслась дивная музыка, тоже древняя, простая, зовущая и в то же время доступная лишь сердцу и необъяснимая разумом. Ощущения сказки еще более увеличились, и мы словно замороженные двинулись на звуки музыки. Скоро оказались у входа в огромный дом Потоцких, откуда звучала музыка. Вежливый служитель дома, превращенного в народный музей-усадьбу, вежливо же объяснил, что начались традиционные ежевесенние концерты старинной камерной музыки, на которые съезжаются музыканты и слушатели со всех концов Европы, и что осмотреть бывшие владения Потоцких мы сегодня не сможем.

Збышек загорячился, в шутку ли, всерьез ли посулил всех тут с работы поразогнать, коли не покажут освободителю этой усадьбы то, чего он в войну увидеть не мог, ибо больше ползал на брюхе, глазами уставившись в землю. Вежливый пан служитель поулыбался и разрешил нам войти в дом, но вести себя тихо. Мы на цыпочках поднялись наверх, постояли возле зала, в котором шел

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
концерт. Меня поразило, как много слушали музыку инвалидов – у входа в зал стояли разного рода коляски. Уронив головы, чтобы не было видно слез, в них сидели, внимая музыке, и тихо плакали люди.

Мне сразу расхотелось на что-либо глазеть и чему-либо удивляться, а захотелось сесть с этими людьми в круг и вместе с ними поплакать о себе и обо всех нас.

И когда я бродил по роскошно обставленным апартаментам ясновельможных панов Потоцких и, узнавая, сколько они увезли с собой богатств, убегая с фашистским охвостом за границу и сколько увезти не смогли, все слышал издали музыку Генделя, Баха, Вивальди, Шопена, Венявского – эта вечная музыка как-то отделяла меня от суеты людской, необузданной алчности, глухоты к мольбам и нуждам ближнего. В одном из больших залов нам показали ободранные стены, что-то с корнем выданное, вывернутое, изуродованное это ясновельможные "патриоты" Польши рвали позолоту со стен, канделябры, подвески, ценную утварь – припекло, видать, освободительные войска наступали "на хвост", некогда было церемониться. Тяни веками накопленное, по крохам собранное великим и многострадальным народом. Урвали. Выморщили. Рви когти! Беги! Торопись! Спасай шкуру!

Поляки так и хранят эту залу ободранной, побитой, развороченной смотрите, дивитесь, люди хорошие, а то ведь трудно и поверить, глядя на надменные и пышные портреты многих поколений Потоцких, развешанные по стенам, что их вырождающееся древо сплетется с гнилокорыми ветвями немецких фашистов, и там, за рубежами, вырождающиеся будут пьяно орать: "Еще Польша не сгинела!", проматывая прикарманенные национальные ценности, уворованные у родного народа.

И назавтра, когда пан Янек мчал нас с птичьей скоростью к Дукле, все звучало во мне, накатывая, словно волны моря, одинаковые и в то же время неповторимые звуки старой и никогда не стареющей музыки.

И все развевывалась и развевывалась лента дороги, бесконечная, как вечность, и неповторимая, как жизнь.

В Сандомире, в войну в прах разбитом снарядами и бомбами, шли восстановительные работы, государство выделило огромные средства, чтобы этот древнейший польский город был восстановлен в его первоначальном, историческом лике. Под Дембицей мы остановились, и, хотя вновь проложенная асфальтовая магистраль несколько изменила облик местности, я нашел место нашего артиллерийского наблюдательного пункта и тот пяточок земли, на который, вскрикнув, замертво упал, окутанный дымом взрыва, и, корчась, затих наш товарищ-связист. Где-то здесь, в сосняке, мы его и закопали. Подрос сосняк, затянуло мхом и травой окопы и могилы, забыл я имя и фамилию своего собрата по окопам.

– А знаешь ли ты, что здесь, совсем рядышком, работала немецкая камера смерти, когда вы подошли сюда?

Нет, не знал я этого. Недосуг было отвлекаться. Шли непрерывно бои немцы не хотели сдавать Дембицу по известным им причинам.

Мы поднялись по сосняку в горку и посреди залитой цветом земляники поляны увидели сооружение, напоминающее общественный туалет с квадратным отверстием в потолке. Оказывается, под Дембицей был секретный подземный авиазавод, на нем работали узники концлагерей. Чтобы никому ничего не могли они рассказать, фашисты деловито и плотно забивали это сооружение невольниками, уже не способными к труду, затыкали дыру вверху, запирали плотно двери и пускали вовнутрь газ.

Свистела мелкая птичка над земляничной поляной, шевелило ветерком бумажку на каменном полу. Кто-то здесь презрительно оправился и бросил бумажку на пол. На стенах пестрели разноязычные надписи, проклинающие фашизм. "Это не должно повториться!" – гласила одна из них.

Боже мой, как все просто, невинно и как страшна эта простота! И как мало значат в наше время слова, даже написанные кровью смертников. Уж кто-кто, а фашисты знали это. Они любили поораторствовать, потрещать, посыпать словами свои дорожки, словно кирпичной крошкой, для красоты и удобства. Целую нацию заговорили, заморочили ей голову, потом, побитые, попрятались, переоделись в гражданский мундир, примолкли. А сооружение окаменелым стоном стоит среди весенней

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
поляны, точно угрюмый, нелепый памятник еще одному творению человека, не  
делающему чести его разуму, и молча кричат с его стен каракули букв, взывающие к  
милосердию.

Сколько же тратилось и тратится человеческого разума на то, чтобы убить в  
человеке человеческое?! Одно только изобретение пороха нанесло такой удар  
человечеству и нашей земле, что не счесть зла, им принесенного. А ныне? Что эта  
будка сортирного типа и какой-то удушливый газ, оставшиеся от прошлой войны?  
Детская игра! Сейчас такое оружие, такие ухищрения сотворены для истребления  
человека, что и самого ума, все это измыслившего, не хватает постичь деяние  
свое. И в то же время звучит Гендель в старой польской усадьбе, стоят на полках  
Толстой, Пушкин, Достоевский, Гоголь, Мицкевич, Шекспир, Бальзак, а когда  
изобрели порох, были уже, однако, Данте, Боккаччо, Сервантес, Петрарка, Леонардо  
да Винчи, Микеланджело? Но всего их человеческого гения, всех человеческих жертв  
оказалось мало, чтобы образумить род людской, чтоб вознести добро так высоко,  
что оно недоступно было бы злу.

На окраине Дуклы, за низкой каменной оградой разместилось братское кладбище,  
разделенное на две половины, и по одну его сторону стояли низенькие каменные  
кресты, в подножии уже потемневшие, тронутые зеленой плесенью, а по другую -  
просто холмики, помеченные табличками, обрамленные каймой травы, кое-где  
пробитой синенькими цветами пролесок и маргариток, отчего-то казавшихся здесь  
грустными.

Пожилой поляк, стрекочущий машинкой, ровнял траву меж могил и по обочинам  
кладбища. За ним траву сгребал мальчик годов восьми. Они поздоровались с нами,  
и, узнав, кто я и зачем здесь, поляк вздохнул и сказал горестно, чисто  
по-русски:

- Полюбуйтесь. Посмотрите, как из века в век повторяется одно и то же, одно и то  
же, - он надолго замолк и, снова берясь за ручки косилки, кивнул на мальчика: -  
Вот, беру внука с собой. Пусть смотрит, пусть думает и не повторяет наших бед и  
ошибок.

Я стоял за Дуклой, на холме, и не узнавал того места, где меня ранило. Я ж не на  
прогулке был. Воевал. Когда ранят - по всему телу идет гулкой удар, откроется  
кровь, сильно-сильно зазвенит в голове и затошнит, и вялость найдет, будто в  
лампе догорает керосин, и желтенький, едва теплящийся свет заколеблется и замрет  
над тобой, так, что дышать делается боязно и всего пронзит страхом. И если от  
удара заорал, то, увидев кровь, оглох от собственного голоса и звона, ужася в  
себе, приник к земле, боясь погасить этот исходный свет, этот колеблющийся  
проблеск жизни.

Что я был? Песчинка в огромной буре, а вот, поди ж ты, ощущал что-то, больно  
было от раны, и память зачем-то звала, неудержительно влекла меня сюда, где даже  
не капля, а всего лишь капелька в сравнении с морем крови, красная капелька, моя  
капелька окропила эту землю, на которой росла картошка, в трубочку шло жито и  
радостно желтело целое поле сурепки, из которой местные крестьяне добывают очень  
вкусное растительное масло, называя его с любовью "желтым".

Нет, мне не стало легче от того, что я постоял на том неприметном холме, глядя  
на Дуклинский перевал, объятый темной тайгой, перевал, который мы так и не  
перевалили. Но мне стало спокойней от вида сельских полей, от этих меркло  
синевших гор и лесов, от мирно дымящих труб над крестьянскими избами, от  
равномерного, полусонного, одинокого колокольного звона, доносившегося из  
городка, от пенья жаворонка, взмывшего в небо из хлебов, от этого столь  
привычного, до боли в сердце любимого мира.

Я много увидел и передумал в ту поездку по Польше, но отчетливей всего  
сохранились в памяти девочка, идущая с дедушкой; усталая узкая спина крестьянки,  
половшей вручную хлеб; пожилой поляк с внуком, обихаживающий братское кладбище;  
и музыка Генделя, звучащая в усадьбе, где не видно уже никаких следов войны и  
все затянута цветущей зеленью.

Ради этого стоило воевать и пролить кровь. Ради этого стоит жить и работать. Ибо  
жива наша память и пока еще не покинула нас вера в человеческий разум.

1982

Еще одно письмо из Польши

Вместе с войсками 1-го Украинского фронта наша артиллерийская бригада перешла Государственную границу в районе Перемышля, далее Бжозув, Ярослав первые зарубежные города, по нашему – районного масштаба. Много похожего на нашу Украину и украинцев в приграничье.

Но вот роскошное поместье со всякого рода природными, скульптурными и архитектурными чудесами. Но рассматривать эти чудеса, узнавать, чье поместье – некогда, идут бои, надо работать. Запомнилось лишь множество мраморных скульптур по аллеям, одна из которых была повреждена прямым попаданием мины или снаряда, и два человека – поляк и красноармеец пытались починить ту скульптуру над прудом, в котором кверху брюхом плавали оглушенные декоративные рыбки.

Затем был город Жешув – это уже город солидный, центр воеводства, но идут бои, город во многих местах горит, идет работа, газеть некогда.

Вскоре, я помню и никогда не забуду эту дату – 17 сентября 1944 года, меня тяжело ранило в предгорьях Карпат, и выводил меня, раненого, из полуокружения мой фронтовой друг Вячеслав Шадрин, умерший год назад в городе Темиртау. Из моих фронтовых друзей Слава был самым титулованным – он прошел путь от сцепщика вагонов до заместителя директора Карагандинского металлургического комбината по транспорту, отключившись лишь на два созыва в Железнодорожный райком города Караганды на должность первого секретаря. Ему "светил" и третий раз, и в перспективе высокий кабинет в обкоме, но, считая партийную работу бесполезной и даже вредной, мы, его фронтовые друзья, отговорили его от этой затеи, и он, по настоянию министра путей сообщения, поехал налаживать транспорт в Нижне-Тагильский металлургический комбинат. Но на преодоление бардака и налаживание работы на двух промышленных гигантах даже его неистовых сил не хватило. Надсадился. Умер.

Но еще до того, как не стало моего замечательного друга, побывал я в Польше, в тех местах, где довелось воевать, и в том предгорье, где волок меня с горы вниз мой друг, я успел ему об этом не только рассказать, но и написать.

Тогда-то, во время первой моей поездки в Польшу, я и познакомился со Збышеком Домино, работавшим в ту пору секретарем Союза писателей Жешувского воеводства. Говорливый, подвижный крепыш с приветливым лицом и незамутненным взором честного и доброго человека, он взял меня под свою опеку и сопровождал за город Санок, к месту, где я пролил последний раз кровь на войне и которая тянет к себе так же, как и место рождения человека, как родительские могилы и вообще – все самое родное и святое на земле.

В пути Збышек рассказал мне простую и в то же время редкостную, почти диковинную историю своей семьи. Но перед этим он свозил меня в ту роскошную усадьбу, на пути указав памятник Ивану Туркеничу – молодогвардейцу, здесь погибшему в бою, и остатки своей родной деревеньки, уютящейся на бедных суглинках, среди бедных садочков и огородов. Затем – усадьба пана Потоцкого – именно ее мы и видели в войну – древнего, богатейшего, шляхетского рода, известного на всю Европу и Россию. Усадьба была восстановлена, и только теперь я подивился ее роскоши и красоте. В панских покоях, в дивном музыкальном зале, украшенном портретами великих композиторов, шел концерт играли Шопена, Генделя, Моцарта, Баха, Бетховена – ежегодно сюда съезжаются со всего мира выдающиеся музыканты, чтобы блеснуть своим искусством. И беломраморная богиня над прудом, целомудренно прикрыв ладошкой низ живота, гляделась в пруд с цветущими лилиями, и рыбки красивыми тенями скользили меж ними.

В 1939 году, после "освобождения" польских окраин от капиталистического и прочего гнета, наше мудрое правительство и Великий учитель – сделали широкий жест – разрешили бедным польским крестьянам занять тучные украинские земли "по ту сторону" границы, с которых были согнаны и куда-то увезены (а куда – Збышек скоро узнает) неблагонадежные украинские крестьяне. Отец Збышека Домино долго думал, но быстро собрался, потому как никакого обременительного багажа, кроме детей, не имел, да и многие польские семьи ехали обживать украинские земли налегке, забрав с собою лишь коров и коней, у кого они были.

Им дали отсеяться, вырастить урожай, но убирать его им не довелось

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
поляки-переселенцы не уверены, что урожай тот тучный, надсадной работой доставшийся, кто-либо вообще убирал. Уже имеющие богатый опыт переселений, изгнаний, изводов и истребления крестьян советские молодцы сбросали ссыльных в вагоны и повезли вперед, на восток. "Ах, какая же большая страна - Россия! Как длинны ее дороги и необъятны земли!.." - и годы, и годы спустя, качая головой, восклицал Збышек. Они ехали долго, голодуя, бедствуя, привыкая к мысли, что не все доедут до места и совсем уж, совсем не все узнают счастье возвращения на свою истерзанную и обманутую Родину.

Их привезли в Забайкалье, разбросали по глухим селам, вид которых, однако, был и приветлив, и не беден, а земли вокруг - ну точь-в-точь как на Украине, хоть на хлеб ту землю мажь вместо масла.

Семью Збышека свалили во дворе, где хлопотала по хозяйству и на кого-то ругалась еще довольно молодая, крепкая, белозубая хозяйка.

"Чё сидите-то посередь двора, на самом пекле?" - закричала хозяйка и не пригласила, а прямо-таки скидала гостей в зимовье с закрытыми наглухо ставнями. В зимовье было чисто и прохладно. На большом деревянном столе в ряд на ребре стояли недавно вынутые из печи хлебные караваи; по окнам и на полках - ряды кринок и горшков с молоком, со сметаной.

"Дети! Ничего не трогать! Пусть мы умрем с голоду - ни-че-го не тро-гать! - сказал отец Домино. - Вы же видели, какие тут люди? Хозяйка зверь!" - И дети тихо плакали. Мать, обняв их, отвернулась, чтобы не видеть ни хлеб, ни кринки.

"Хозяйка - зверь" пришла, встала в проеме двери и, подняв фартук к глазам, показывала на хлеб, на кринки - и бедные, запутанные люди понимали это так: "Попробуйте, троньте, я с вас шкуру сдеру!.." Но хозяйка оказалась ангелом небесным по сравнению с хозяином. - Он налетел на самую хозяйку коршуном, оттолкнул ее и слышалось только сплошное: "дура" и "мать", "дура" и "мать". Затем он налетел на старшего Домино, затряс его за грудки: "Ты-то чё сидишь? Дети голодны!.. - и снова: - Мать! Мать! Мать!.."

"Пан не розуме по-росыйску", - засмушалась и заступилась за отца мать.

"А-а, не розуме. Да-а, он ить не русскай!.." - и тут пан-хозяин стукнул себя кулаком по голове, схватил со стола каравай, переломил его через колено, разорвал на куски и стал совать их детям - теплый, ароматный хлеб. А хозяйка теперь уж громче громкого ругала пана-хозяина и себя заодно и плача наливала молоко в кружки...

Как они потом смеялись, вспоминая эту встречу на выселении, на сибирской-то, на "каторжной земле".

Здесь и выросли дети Домино, здесь и возмужали. Збышек поначалу попал подпаском к колхозному пастуху Матвею, и конечно же, старался изо всех сил. А Матвей был большой плут и выпивоха. Быстро перевоспитал кадр, поступивший под его начало с чужих земель, научил его матерно ругать скотину и на этом посчитал воспитательное дело законченным, передоверив всю работу малому полячонку, ложился спать в тенек, осушив перед этим чекушку водки.

Там, в Забайкалье, осталась навечно мать Домино, а все остальные вернулись на Родину, в Польшу, сохранив чувство признательности и любви в сердце к Сибири и к сибирским людям.

Збышек подарил мне свои книги, одна из них называется "Кедровые орехи". Я, еще учась в Москве, передал ее для перевода, и с тех пор ни книги, ни переводчика. Такое, к сожалению, у нас тоже бывает, и чем дальше, тем чаще. Иногда наши пути со Збышеком перекрещивались. Одно время он работал советником при польском Министерстве культуры и недолго работал в Москве, в польском посольстве, тоже по культуре чего-то возглавлял. В те дни, когда в Красноярске был Горбачев, в Киеве встречались ветераны 17-й Киевско-Житомирской артдивизии. Я почти наверняка знал, что встреча ветеранов - последняя встреча - состарились мы, ветераны войны, и потому предпочел встречу с ветеранами родной дивизии пестрой свите президента, и однажды в гостинице встретился со Збышеком, прямо нос к носу! Мы братски обнялись, ровно бы чувствуя грядущие события в судьбах наших стран, долго сидели и говорили. Збышек ездил в Забайкалье, искал могилу матери. Не

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
нашел, но не терял надежды найти, а пока вез лишь горсть земли с забайкальского  
сельского кладбища.

Я изредка получаю письма от Збышека Домино из Жешува. Вот на днях мною  
полученное письмо. Стоит отправка письма четыре тысячи злотых, у нас пока еще 65  
рублей, но зато письма до Москвы идут месяцами, а отправленное весной деловое  
письмо из Овсянки в Калугу пришло аж в декабре. Совсем изварлыжился трудящийся  
наш народ, совсем рассыпается телега, оставленная нам в наследство Страной  
Советов, ничего никуда уж не везет, зато много партий, постановлений об  
улучшении жизни. Коммунисты чуть отодвинулись в сторонку, довольно пожимают руки  
(фашисты зубами клацают). Пусть не очень весело, зато разнообразно живем – об  
этом я и напишу другу Збышеку в Польшу, и знаю, он погорюет о нас, о далекой  
Сибири так же, как горюет и о своей Родине, до боли любимой Польше.

1995

Пересекая рубеж

Ответы журналу "Вопросы литературы" (беседу вел критик А. Михайлов)

– Виктор Петрович! Недавно вы, как и многие уже писатели фронтового поколения,  
отметили свой полувековой юбилей. На ваши плечи лег груз пятидесятилетия –  
рубеж, важный в жизни каждого человека. Изменилось ли что-нибудь в вашем  
творческом самочувствии в связи с этим?

– Радостного мало. Годы, потраченное на войне здоровье, все раны, все царапины,  
телесные и душевные, делаются слышнее, дают о себе знать, да и жизнь очень уж  
стремительная, оглядеться – то некогда было, самое время наступило  
сосредоточиться, подумать. Один из друзей, поздравивших меня с пятидесятилетием  
и уже сам перешагнувший этот рубеж, сказал, что к новому положению можно  
привыкнуть, жить можно и после пятидесяти... Какого-то особого водораздела я и  
не чувствую, не ощущаю – пока, по крайней мере. Живу как жил, только чаще стало  
тянуть побыть одному, да еще острее и как-то тревожно жду весну.

– Но если сравнить с началом, со временем вхождения в литературу, нравственное и  
творческое самочувствие, по-видимому, было несколько иным?

– Мне ведь было двадцать восемь лет, когда я начал писать. Из этих лет старость  
и смерть кажутся такими далекими. Употребив слово "смерть", я ни себя и никого  
другого не хочу потрясти. Фронтовики-окопники часто падают за полувековым  
рубежом, и, если мне выпадет пожить подольше этого срока нисколько не против. А  
придет она, ну что ж – фронт приучил спокойно к ней относиться, ведь, "коль  
придется в землю лечь, так это только раз...". А так жизнь идет, не стоит.  
Какие-то нравственные и духовные изменения происходили, происходят и будут  
происходить, многие из которых мне объяснить разом трудно, вот и обдумываешь,  
мучаешься, чтобы прежде всего самого себя познать – в этом и есть писательская  
жизнь и опыт в работе.

– Нет ли ощущения перегруженности опытом? Что я имею в виду? Фолкнер, размышляя  
о текучести времени, заметил, что человек – сумма своего прошлого. У вас сумма  
весьма внушительная. Она включает горький опыт деревенского сироты, детдомовца и  
фэзэушника, солдата и рабочего, газетчика и писателя. Одна война с ее смертями и  
кровью может заполнить сознание на всю жизнь да так и не дать выговориться до  
конца... Не появилось ли желание в связи с пятидесятилетием подвести некоторые  
предварительные итоги?

– Подведение итогов у меня было несколько раньше. Жизнь писателя, так же,  
видимо, как и жизнь человека другой профессии, состоит из нескольких этапов, и  
всякий раз берешь какой-то новый рубеж, преодолеваешь перевал. Устаешь, конечно,  
но начинаешь работать, набираешься мужества снова начать, и откуда-то берутся  
силы. Что же касается жизненного материала, то, наверное, никому и никогда не  
удавалось его "реализовать" полностью жизнь – то идет, пополняется этот самый  
багаж, обновляет ощущения, чувства. В юности они одни, в молодости другие, а к  
старости добираться несколько, быть может, опорожненным заплечный багаж, но  
зато с более глубокими, часто, может быть, и более серьезными чувствами в душе.

Что же касается писательства, то тут и просто, и сложно. Начинал-то я  
примитивно. Первый этап моей писательской биографии не выходил за рамки



Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
ученичества. Владимир Тендряков или Юрий Казаков сразу начинали блистательно. Но у каждого своя планида не только в жизни. Я думаю, что такое мое начало объясняется недостатком внутренней культуры...

- А может быть, все-таки прежде всего недостатком профессиональной подготовки? Ведь внутренняя культура - понятие более сложное и тонкое, включающее в себя и талант. А вот профессиональные навыки... Вы назвали имена Тендрякова и Казакова, писателей, которые уже первыми произведениями заставили о себе заговорить серьезно. Но оба они получили профессиональную подготовку в Литературном институте имени А. М. Горького. Разве это не имеет значения?

- Еще какое! Недостаток образования и внутренней культуры ведет к чувству неполноценности, а значит, и самоуничижения. Сколько сил потерял я на преодоление самого себя, но так и не изжил до конца этого: "С суконным рылом в калашный ряд!" Я знаю людей, и себя включаю в их число, которые стесняются называть себя писателями. Впрочем, у нас так много желающих называть себя таковыми, что эти застенчивые люди, хотя они все и писатели заметные, как-то затушевываются массой.

Хотелось всю жизнь, жадно хотелось учиться, много читать и знать. Когда мне первый раз в жизни довелось переступить порог университета, а ходил я тогда уже в писателях, сердце мое сжалось от боли и неистребимой тоски по утраченным возможностям быть студентом. Я с завистью смотрел на молодых парней и девушек, которые так вот запросто ходили по коридорам, хохотали, покуривали на лестнице - словом, вели себя буднично. Для меня университет был и остался храмом, где и кашлянуть-то боязно, где все овеяно благоговением, и тайны там скрываются... Не смейтесь, не смейтесь!

Представьте себе человека, который закончил ФЗУ, да еще в военные годы, работал на железной дороге составителем поездов - опасная, тяжелая работа, - потом воевал, был тяжело ранен. Судьба распорядилась жестоко потерял и эту профессию, попал в город Чусовой, на Урал. Работы случайные, грязные, никакой уверенности в завтрашнем дне и в устойчивом куске хлеба. Хотелось писать, с детства хотелось, а попробовал уже накануне тридцати. Взрослый человек! Все видит, все понимает, и в первую голову то, что написанное им - еще не литература. Неуверенность в себе преследует его, как парнишку. Ведь это то же самое, что учиться ходить. А если б не война, "ходить" начал бы рано - тянуло к сочинительству с детства.

- Многие писатели приходят в литературу из газеты. В вашем опыте тоже есть журналистская работа. Имела ли она значение для творческого самоопределения Виктора Астафьева?

- Конечно, журналистский опыт дает многое. Я в газете начал одновременно с литературными пробами. Написал свой первый рассказ "Гражданский человек". Потом я его переписал, и в книгу он вошел под названием "Сибиряк". А сначала рассказ печатался в городской двухполосной газете. Однако с рассказом этим получился казус. Печатался он в газете "Чусовской рабочий", с продолжением. Но после одного отрывка печатание вдруг прекратили. Кого-то оскорбила фраза, которую произносит один из персонажей: "Мало нашего брата осталось в колхозе, вот и стали мы все для баб хороши". Мне приписали оскорбление советской женщины, которую называли так некультурно - бабой. Советский солдат, мол, не может так грубо говорить. Однако читатели присылали много писем, звонили в редакцию, требовали продолжения рассказа, и его все-таки напечатали до конца, а меня вдруг позвали работать в газету. Так с первым рассказом я приобрел скандальную славу в своем городе - буря в стакане воды! Но это был первый и последний скандал, который сопутствовал моей литературной работе.

- Судя по всему, скандал вас не напугал?

- Нет. Но многие провинциальные влияния меня не миновали. Редакторы утюжили мои, всюду выпирающие, мослы, стесывали, подравнивали. Так, одна благожелательная и неглупая вроде бы редакторша подсобила мне оживить героя одного рассказа - она терпеть не могла каких-либо смертей и особенно когда произведение заканчивалось трагически. Многих "умельцев" того времени смущал корявый язык моих произведений, меня все натаскивали, натаскивали, толкая, что язык героя и автора не должен смешиваться, что его надо индивидуализировать, давать "штрихи" портретные, выделять из массы каждого героя если не характером, то хотя бы конкретными, ему лишь присущими чертами...

До того мне забили голову этими прописными истинами, которые годны скорее при пиленнии дров, что начал я писать черт-те что, гвоздил бойко какие-то конфликтные рассказы на языке районной газеты, которым овладел довольно быстро, и, если бы между всей лапшой не написал рассказ "Солдат и мать", не знаю, что было бы. Мне казалось – это единственная у меня вещь, которая чего-то стоит, и я послал рассказ в "Новый мир" на имя Сергея Петровича Антонова, который в то время вместе с Юрием Нагибиным были главными авторитетами среди новеллистов, и не только для меня. Не помню, что я писал Сергею Петровичу, но про себя решил: если и эта вещь неудачна, то, стало быть, надо кончать "пробовать". Сплю по три-четыре часа в сутки, костями уже гремлю, голова контуженая разламывается, значит, надо целиком переключаться на текущее дело, жить газетою и в газете – лучше быть путным, и пусть и районным, журналистом, чем жалким обивателем литературных порогов. Человек я в крайних решениях твердый и потому стремлюсь такие решения принимать как можно реже.

Сергей Петрович очень быстро откликнулся – я получил письмо на бланке журнала "Новый мир"! Оно у меня хранится до сих пор. Сергей Петрович, может, по доброте душевной, может, из сочувствия или удивления, что в каком-то неведомом уральском городишке живет и тоже чего-то пробует нацарапать на бумаге какой-то мужик или парень, назвал меня сложившимся рассказчиком, сообщил, что подправит мой рассказ и предложит журналу. Скоро, однако, правленный рассказ вернули ко мне с деликатными сожалениями и пожеланиями предложить его другому журналу, и непременно "солидному". Я в эту пору уже взахлеб работал, ободренный поддержкой известного прозаика, дал "вылежаться" рассказу и лишь в следующем году, поработав еще, послал его в "Знамя" на имя Юрия Нагибина, рассказ которого "Деляги" я прочел в госпитале и был потрясен тем, что рассказ этот "про меня" и "про всех нас", бывших вояк, вдруг оказавшихся после войны на расстанях многих дорог, подрастерявших на пути к самостоятельной жизни. С тех пор я читал у Нагибина все, что он печатал, и по сию пору стараюсь это делать, и, слава Богу, ни моя привязанность к его произведениям, ни моя симпатия к писателю не исчезли, а даже еще больше укрепились с годами. Меня тоже иногда называют учеником и преемником какого-нибудь классика, чаще всего упоминают Горького. Нет, сам я никогда не осмеливался и не осмелюсь потревожить прах великих писателей, учился и учусь я потихоньку у живого писателя, которого не так боязно, у Юрия Марковича Нагибина, и давно хотел в этом признаться публично, даже статью начинал писать, но сразу же захлебнулся неуклюжими восторгами и статью не написал....

Юрий Маркович похвалил мой рассказ, предложил его в "Знамя", и там его через год, после суровой и ошеломительной редактуры, напечатали. Это была моя первая публикация в "толстом" столичном журнале. Юрию Марковичу я имел лично возможность сказать спасибо, а Сергея Петровича я знаю мало, отдаленно, и хотел бы ему, пусть припоздало, поклониться за поддержку и сказать, что долг свой я оплачиваю ежедневно – на прочтение рукописей молодых авторов, особенно из глухих провинциальных мест, на ответы и поддержку их трачу большую часть своего времени...

– Критика, в том числе и покойный Александр Николаевич Макаров, отмечала, что у вас не было прямого ученичества, чьей-то школы, как бывает у многих молодых писателей в начале творческого пути. Чем вы объясняете это? Так складывается характер? Творческая индивидуальность?

– Я же открыл "секрет", назвав Нагибина! А школа? Наша блистательная русская литература – такая школа, что счастье быть в ней достойным учеником. Учеником! Но не подражателем. Духовному величию, гражданской порядочности и стойкости учат в этой "школе", но никак не эпигонству и не лизоблюдству.

– Однако вернемся все же, Виктор Петрович, к насущному вопросу наших дней – к разговору о профессиональной подготовке писателя.

– Мой пример – лишнее подтверждение тому, что образование, систематическая учеба, профессиональная подготовка необходимы писателю как воздух. То, что дают ему школа, вуз, профессиональная среда в сравнительно короткое время, самостоятельно приобретает за многие и многие годы. Моими единственными университетами, помимо, конечно, жизни, были Высшие литературные курсы. На курсах за два года я постиг то, на что в Чусовом мне понадобились бы десятилетия. Я был как вспаханное поле: бросай зерна, и они прорастут. А где? Кто бросит? И главное, что бросит? Учиться было совершенно необходимо, это была уже

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
внутренняя потребность, пусть несколько запоздавшая. Но это уже не моя вина, а беда. Я уже говорил, как сложилась жизнь. Война внесла поправки в миллионы человеческих судеб, а обещания, или, точнее, наши ожидания, что нам после войны помогут устроиться и доучиться, не оправдались. Мы рубились в послевоенной жизни, как бойцы на фронте, только, увы, уже в одиночку. И много фронтовиков пало в той непредвиденной и изурительной сече.

- Как вы относитесь к своим ранним вещам?

- Как? С почтением. Это ж мой труд, пусть и неумелый. Я как-то в молодости делал табуретку и вбил в нее фунта три гвоздей. После появилась у меня и магазинная мебель, однако самодельную табуретку я не выбрасывал, хотя смотрел на нее с улыбкой. Вообще-то, у прозаиков, близких мне по судьбе, у таких, как Евгений Носов, например, написано немного. Все написанное Носовым можно уместить в однотомник, но уж зато продукция "фирменная" - ни с кем не спутаешь! У меня характер побойчее, и написано побольше, и "продукция" более пестрая. Когда в областной библиотеке, вологодской, к пятидесятилетию устроили выставку моих книг и литературы обо мне, то я искренне удивился: не многовато ли? Какую-то часть написанного мною не стоило бы выставлять напоказ. Но что написано пером, как известно, не вырубишь и топором! В литературном творчестве есть детство, зрелость и старость. В детстве издержки неизбежны. Да и в зрелости никто от них не застрахован. Я лично не верю тем литераторам, которые высокомерно заявляют, что они ни запятой не изменят в написанном ими и редактировать у них нечего. Стоящий литератор всегда найдет что переделать, ибо нет предела совершенству. Другое дело, что надо ему когда-то и остановиться, чтобы не "зализать" и не замучить произведение. В нем должно быть вольное, непринужденное дыхание, которое, кстати, дается только огромным, напряженным трудом.

- Считаете ли вы, что в каждом прозаике, писателе, поэте, драматурге должен присутствовать еще и критик или, может быть, редактор?

- Мне кажется, воспитание вкуса для писателя - процесс непрекращающийся. А воспитание вкуса - это и есть воспитание в себе критика, редактора. Безупречного вкуса не бывает. Признать чей-то вкус безупречным - значит поставить предел его совершенствованию. А предела, как я сказал выше, нет, ибо каждый писатель - индивидуальность, и, если у нас много развелось "лиц общего выраженья" - это еще ничего не значит. Диалектика развития не позволяет нам абсолютизировать чей-то вкус. Главное - оставаться честным перед собой, в работе над произведением исчерпать свои возможности, достигнуть потолка, которого ты в данный момент можешь достигнуть. А потом поживешь, накопишь знаний, мыслей, материала глядишь, потолок-то и приподнялся.

- В ваших книгах находит отражение и жизнь деревни, и жизнь человека в городе, на производстве, и, наконец, война. Какой из этих массивов жизни имел наибольшее влияние на определенных этапах творчества?

- Один мой знакомый твердит: жизнь человека делится на два периода до получения квартиры и после получения таковой. Как видите, взгляд весьма прагматичный. Жизнь моего поколения разделяется так: до войны и после войны. И наш коллективный долг - показать оба эти массива жизни. Показать, что было до войны, необходимо для того, чтобы читатель понял и почувствовал, какое это великое бедствие - война. Это Уральский хребет нашей жизни.

- Уральский хребет в смысле трудности его преодоления?

- Да, разумеется. А вообще-то, мне хочется высказать свою точку зрения на деление литературы на "рабочую" и "деревенскую". По-моему, есть это не что иное, как примитивность мысли нашей, современной, критической. Ну куда, скажите на милость, деваться Толстому, Бунину, Чехову, Достоевскому, даже и Горькому? Они ж просто "нетипичными" писателями получают! Призывали и призывают учиться у классиков, а чему у них научишься, когда они не подходят ни под "рабочий класс", ни под "деревенщиков"? Подобное толкование литературы, низведение ее до "цехового" деления выгодно посредственностям, которые создают произведения по схемам и выверенным рецептам, не понимая, что сознанием писателя движет часто интуиция и он сам себе не может объяснить, как и отчего получилась у него та или иная ситуация в книге, тот или иной герой. Посредственности же все умеют объяснить и делают это охотно и часто. Не верите мне? Загляните в подшивки газет. Кстати, зачинателем дискуссии "О рабочем классе" в "Литературной газете"

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
явился неудавшийся писатель, который пробовал себя в беллетристике, но не преуспел там. И вот ищет "ниву", чтобы посеять "свое семя", а семя-то пустое, бесплодное, и вся эта говорильня выеденного яйца не стоит. И вообще дискуссии наши часто напоминают мне бабушкину поговорку: "Расходилось сине море в рукомойнике".

Что касается деревенского опыта, моего личного, то он, пожалуй, наиболее эмоционально, наиболее лично воплотился в повести "Последний поклон". Это и понятно: детские впечатления, первое, самое непосредственное восприятие окружающего мира остается на всю жизнь. Оно связано с природой, с пониманием красоты ее, с нынешними проблемами защиты естественной красоты природы, ее богатств от варварских посягательств и расточительного, неэкономного использования их. Но "Последний поклон" – вещь ни деревенская, ни городская, она всякая, как, впрочем, и "Перевал". Там у меня сплошь рабочий класс, и я потихоньку горжусь тем, что это никем нарочно не отмечается и не замечается – первый признак того, что в повести нет спекуляции на "актуальной" теме, напоминающей плохо забитый гвоздь, о который, хочешь не хочешь, если не умом, так хоть штанами зацепишься.

– Хотелось бы подробнее поговорить о тревожащем всех нас – природе, я знаю, как вы относитесь к этому...

– И тем не менее наступайте на "больную мозоль"! Говорили бы "за литературу", ведь знаете, как трудно и больно говорить о природе. Подробно и, надеюсь, убедительней я поразмышляю о ней в новой повести "Царь-рыба". А потом скажу: моя последняя, нынешнего года поездка в родные сибирские места угнетающе подействовала на меня. По обоим берегам Енисея горелые леса на сотни верст, даже напротив города Дивногорска в скалах и на скалах рыжо. "Глянешь ночью, будто раскаленная магма катится по ущельям – ужас!" рассказывал мне местный поэт Владилен Белкин. Это следы так называемого "воскресного отдыха" и туристической стихии.

Работают патрули, пионерские, комсомольские, поднимаются на ноги пожарники, егеря, силы общественности – ничего не помогает, полыхают леса. По берегу Енисея больше стекла, банок, склянок и металлических пробок, чем камней; воду мутную, взъерошенную беспрерывно колотит волной от моторов. Я для интереса пересчитал на реке, только в створе родной деревни, количество одновременно идущего транспорта и насчитал девятнадцать! Большею частью это были моторные лодки с пьяными пассажирами, остальное покрупнее: "ракеты", самоходки, катера. С пятницы до вечерней воскресной зари по берегам не только сибирских рек, по горам, по долам, по всем оробелым лесам и тайге царит разгул. Люди с так называемого отдыха возвращаются невыспавшиеся, разбитые, с дурными от похмелья и перегрева головами, часто с "фонарями" на лице. Немало в эти дни тонет народу на воде, срывается со скал, увечится в драках и походах.

Надо что-то делать! Срочно! Спасительная теория, в том числе и моя, что "перебесятся" люди, за голову схватятся да и начнут налаживать природу, значит, и самих себя, уже не успокаивает. Боюсь, что прав Юрий Бондарев, который в интервью польскому журналу "керунки" сказал: "Потом" не бывает. В настоящем рождается будущее". Пора, на мой взгляд, вводить в школах уроки помощи и восстановления природы. Все-все граждане нашей страны должны хоть один день в месяц отдать природе. Только большими силами, большими средствами мы можем что-то сделать. Пластыри и заплатки уже не закрывают ран на теле и лице природы.

Тяжело раненная природа начинает обороняться: энцефалитным клещом, эпидемиями гриппа, болезнями желудка, печени, почек – от грязной воды, эпистархозом – у рыб и даже у боровой дичи; некоторые виды кустарников, ягодников и деревьев отказываются рождать. Так, черемуха на Урале, за которую здесь стали ходить только с топорами и пилами-ножовками, рождает ягоды в пять-шесть лет раз – старые-то черемухи выпиливаются. То же самое происходит с кедрочками, которые беспощадно уничтожаются бензопилами, топорами, ранятся колотами, смахиваются беспечным и преступным огнем.

Пора платить долг природе, и по крупному счету. Законодательства по этому поводу тоже требуют усовершенствования.

– Есть ведь законы, карающие за варварское отношение к природе.

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

- Значит, надо их почаще и потолковей применять на практике. На Урале был такой случай; спалил один ротозей гриву леса на косогоре. Его поймали и судили. По закону полагалось дать ему штраф. Судья поступил иначе. Он вынес определение, или как это называется на юридическом языке, чтобы подсудимый засадил выжженный косогор. Три года таскал злоумышленник в мешках саженцы и следил за ними до тех пор, пока на косогоре не появилась молодая рощица. Он сам говорил потом, любуясь рукотворным лесом: "Вот если бы всех паразитов эдак - тогда и леса были бы у нас целы, воды и воздух чисты..."

- А как же быть с крестьянским отношением к природе? Оно ж потребительское!

- Да, крестьянское отношение к природе потребительское. В детстве наше общение с природой начиналось не с идиллий, не с любования красотой, а с еды. Многие цветы мы ели: медуницу, первоцвет-баранчик, кандык, купыри-пучки, клевер, а самыми первыми на весенних проталинах выкапывали деревянными лопатками луковки саранок и всходы пестиков - полевых хвощей; потом появлялись листики щавеля, петушки, кисленькая хвоя лиственниц. Сосновый сок, например, сочили и с хлебом потребляли - сахару ведь не было почти во время моего детства. Случалось, самовары ставили на березовом соку. Натурали обутки синими цветками, чтобы они блестели, как от крема. Оказалось, это цветки дикого ириса. Уже в раннем детстве мы в лесу не пропали бы с голоду. Это сейчас я люблю красоту природы, а тогда думал о том, как бы пропитать себя.

Но такое отношение не мешало навечно сделаться трепетно влюбленным в свою землю человеком. И потом, крестьяне никогда не рубили сук, на котором сидели. Я и сейчас помню, как сломал вершину черемухи и как меня этой же вершинкой пороли.

- То есть опытом, эмпирическим путем?

- В основном. Крестьянским детям чужда какая бы то ни была созерцательность в отношении к природе. В активном общении с нею вырабатывается характер, умение противостоять природе, ее стихийным силам, извлекать из нее пользу и беречь ее, уважать, прежде всего как кормилицу-мать. Чем суровее природа и общение с ней, тем больше стойкости, твердости в характере человека вырабатывается. Не поэтому ли сибиряки, например, оказались столь хорошо физически подготовленными к войне. Ведь война - это не только стрельба и танковые атаки, это и огромное физическое напряжение, простуды, болезни, недоедания, цинга и прочее, и прочее. Так вот, я замечал, что те люди, которые в довоенной жизни тесно общались с природой, и на войне умудрялись извлечь из этого пользу: умели лучше приспособляться к местности, сориентироваться в лесу, найти и сварить еду, наладить жилье, ночлег, развести костер, окоп выкопать. После войны, когда мы вернулись домой, не тянуло нас к природе, наоборот, после окопной грязи, неужта, холода и голода тянуло к дому, к теплу, к печке. Многие молодые сразу же женились. А с пятидесятих годов начались вылазки на природу, всевозможные пикники. Бывало так, что всем цехом или даже заводом выезжали. Затем появился современный турист. К сожалению, туристические наезды в леса иногда носят характер разбоя. До последнего времени я был идеалистом верил, с этим удастся покончить. Знаю молодых людей, которые не только жгут и разоряют, но и сажают деревья. Знаю студентов, которые в летнее время, сидя на воде и хлебе, с огромным энтузиазмом занимались реставрационными работами в Кирилловском монастыре. Неразумные люди, думалось мне, еще наделают немало бед, еще погробят природу, но в конце концов поумнеют. Практически и нравственно поумнеют. Раньше многие грабили природу, добывая себе пищу, и то с умом грабили. Теперь многие праздно грабят, с жиру бесятся. Идеализму моему и уверенности приходит, кажется, конец, и моему ли только?!

- Активное общение с природой является одной из сторон борьбы за существование, но оно не исключает и эстетического отношения к ней, любования ее красотами, которое приходит позднее. Тогда уже для взрослого, умудренного жизнью человека звучит в лесу "Зорькина песня", хотя услышана она была ранним утром на Енисее, когда этот человек был еще совсем маленьким и ходил с бабушкой Катериной Петровной по землянику... Я имею в виду двойной взгляд на природу, взгляд зрелого уже человека, воспроизводящий детское восприятие. В нем соединяются зрелое понимание красоты и восхищение ею с непосредственностью восприятия, которая присуща детям. Видимо, нужно объединить эти две стороны отношения к природе?

- В зрелом возрасте довольно отчетливо вспоминаются отдельные состояния природы, на которые как будто не обращал внимания прежде, но которые тем не менее

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

отложились где-то в подсознании. Когда пишу, я предпочитаю иметь перед собой зрительный образ человека, лес, озеро, поле, мне надо их видеть, ясно представлять. Настраиваешься на то состояние природы, которое вызвал в своей памяти. Меня с детства окружала прекрасная сибирская природа. Я знаю, какого цвета таймень, какими бывают сумерки в то или иное время года – голубыми или синими. Я рос впечатлительным мальчишкой. Может быть, не случись беды, не осиротей, и не был бы таким восприимчивым ко всему. И особенно приглядывался к людям – их отношение ко мне, сироте, открывало их душу, выявляло характер.

- Какую же она открывалась?

- Деревня наша внешне грубовата, тут сверху беглым взглядом ничего хорошего не увидишь. Ее надо увидеть изнутри, добраться до чистых, грунтовых вод.

- "Последний поклон" – свидетельство того?

- Мне, родившемуся и выросшему в деревне, сделать это было не то чтобы трудно, но радостно, что ли. Уж больно добрый и светлый мир, то есть материал, накопился в душе и в памяти, просился наружу. Все-таки многое, вспоминаю я сейчас, предрасполагало к выдумке, иначе говоря, к творчеству. Книг и газет не было, кино немое только начали привозить, и мы крутили "динамку" за то, чтобы нам его разрешили посмотреть. Процветало словотворчество, байки, сказки – словом, выдумка. Залезешь на печку или на полати и слушаешь, как внизу рассказывают охотничьи истории, где правды долька, а выдумки – короб. И ты тоже представляешь себя с ружьем против медведя, бесстрашным и сильным, так и заснешь, бывало, с чувством только что совершенного храброго действия. Может быть, это и есть начало творчества – зачаточное, стихийное?.. Во всяком случае, эти деревенские мужички байки способствовали развитию воображения, фантазии. Недаром потом в детском доме и в школе меня "заприметили", заставляли сочинять стишки к случаю, нарисовать картинку в стенгазету – словом, "творческие" поручения давали. Увы, сейчас всякую беседу и даже песни, в том числе и застольные, напрочь отменил и заменил телевизор. И в нашей деревне тоже.

- Может быть, в связи с этим вы коснулись бы проблемы факта и вымысла, их соотношения в творчестве художника? Сейчас об этом много спорят – и у нас, и на Западе высказываются разные точки зрения, иногда исключая друг друга. Возрос и читательский интерес к документальной литературе. Не потеряло ли престиж такое неперемненное свойство таланта, как воображение художника, его фантазия?

- Самый фантастический и в то же время самый реалистический писатель XIX века – Гоголь. В нем совместились великий реалист и великий выдумщик. Реализм его основан на прекрасном знании жизни, на знании множества явлений и фактов. Взять хотя бы "Старосветских помещиков". На первый, беглый, взгляд персонажи этого произведения только едят и пьют и ничего там особенного не происходит. А ведь это повесть о любви! Там есть такая, еще потрясшая меня в школе, деталь: девушку послали за арбузом, она выбежала и голой пяткой почувствовала за день нагретые плахи крыльца. Таких точных реалистических деталей у Гоголя тьма. И он же написал про невероятный нос, про панночку, которая заморочила голову славному философу Хоме, про чертей, про кума, про великого Тараса и про сумасшедшего Поприщина, и про то, что редкая птица долетит до середины Днепра, а ведь Днепр и воробей может перелететь! В Гоголе совмещена мощная фантазия, находящая выражение в крайней гиперболизации и в других приемах условности, и совершенно строгий реализм. По "Старосветским помещикам" представляешь себе картину жизни тогдашней России. Кстати, все написанное Гоголем уместилось в шесть томов, но место, занятое им в мировой литературе и культуре, громадно. "Плотно" писал Гоголь, емко, остро мыслил. Наша литература слишком многословна и затоваривается документальными произведениями, не имеющими отношения к литературе художественной. Документальным считается то произведение, где точно указаны тонны, имена, факты, даты, наконец, кто с кем поделил краюху хлеба. Я никак не хочу скомпрометировать все произведения такого характера. Наоборот, все это достойно описания, но такого описания, где документальность, точность сочетались бы с художественностью. А художественность предполагает вымысел, типизацию, отбор. Мы затоварились газетной документальностью, выдающей себя за литературу, затоварились до того, что некоторые критики и теоретики поставили под сомнение природное право писателя на вымысел, то есть на мысль, – это утверждает себя бескрылость.

- Вы считаете, что документальная литература делится на два сорта: литература,

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
строго подчиненная факту, документу и не претендующая на художественность, и литература, соединяющая факт и вымысел, документальность, одухотворенная художественностью?

- Есть ведь еще и псевдохудожественная литература. Читаешь иную книгу, автор в ней описывает все в подробностях, вроде бы все похоже, а чувствуешь - выдумывает, умствует, - уж лучше взяться тогда за другое чтение, не оштукатуренное под дурную беллетристику. Повествование, основанное на документах, воспоминаниях, и сама жизнь незаурядного человека куда как интересней. Так, например, строго документальная, сдержанно-научная, без каких-либо "личных" эмоций, но согретая любовью автора, его честностью перед историей и благоговением, которое, впрочем, нигде не переходит в фамильярность и плебейское приседание, книга Яна Парандовского "Петрарка", недавно опубликованная в "Иностранной литературе", воспринимается взволнованней, чем множество наших книг о личностях "сверхгероических", особенно о несчастных инвалидах, кои не сдаются недугу и пытаются, лежа в постели, работать, быть полезными обществу. Зачастую в "спектакль" по сценарию газетчиков и всевозможных бодрячков-кшефов" втягивается обиженный судьбою человек, начинает он играть кого-то "примерного" и "героически" прятать не только физическую боль, но и трагедию свою, что приводит к "показухе", особенно угнетающей, когда действия разворачиваются у постели человека, обреченного на неподвижность и преждевременную смерть. Люди эти перед собой бывают гораздо мужественней, лучше и, главное, искренними, а значит, и уважающими себя. Я знаю человека-поэта, который более сорока лет лежит в постели и стойко борется с недугом. Отметая все наносное, все, что от лукавого, он просто и мужественно признался однажды: "Если бы мне представилась возможность хоть один день походить по городу своими ногами, один только день - я бы отдал за это всю жизнь..."

В серии "Жизнь замечательных людей" особняком стоят хорошо написанные книги о Сервантесе, Джеке Лондоне, о Дюма, о Суворове и некоторые другие. Отсюда, из этой серии, можно взять два характерных примера: "Мольер", написанный Булгаковым со всей силой огромного таланта, и вымученная пресная книга Прибыткова о Рублеве. Этими примерами я хочу сказать, что и в документальной литературе писателю необходим талант. Впрочем, он везде необходим. Когда я учился в Москве, то с Бутырского хутора на Тверской бульвар часто ездил на троллейбусе и любовался одним водителем. Он был всегда в чистой, хорошо отглаженной белой рубашке, вел машину спокойно, уверенно, без рывков и с видимым удовольствием. Приятно смотреть. Видно было, что у человека талант к этому делу. Повторяю, талант нужен везде, а в творчестве он - категория просто обязательная. Есть люди, не способные к писанию, но обогащенные немалым жизненным опытом. Иные из них рассуждают так; вон генерал выпустил книгу (может быть, и необязательно генерал), а я что, хуже его? Я - генерал-полковник, моя дивизия в войну была гвардейской... И пишет. Рукопись его попадает в руки "литобработчиков", людей, как правило, корыстных и неталантливых, которые стараются придать книге художественность, вводят в нее вымученные диалоги, описания природы и прочие "украшения". В результате получается разностильная, тяжелая для чтения книга-уродец. От строгой документальности она как будто ушла и к художественности не пришла. Какой-то новый жанр появился, "необходимой" для издания литературы, якобы нужной для патриотического воспитания, точнее бы ее назвать "благодетельной". Она-то и полноводит серый поток книжной продукции, а от серого еще нигде, и особенно в воспитании, никакой пользы не было, разве что серая солдатская шинель. Но и она большей частью нужна из соображений экономики и для маскировки.

- Словом, вы считаете, что документалистика может существовать и сама по себе, и в органическом единстве с художественностью, но только чтоб даровитой была. Я хочу задать вам попутно вопрос, который тоже находится в центре литературных дискуссий последнего времени, - о научно-технической революции, ее влиянии на психологию, нравственность, внутреннюю жизнь человека?

- А революция ли это? Может быть, надо расценивать ее просто как продолжение естественного процесса развития, правда, ускоренного гонкой вооружений? Ведь войны и напряженность международной обстановки поторопили, ускорили нормальный ход развития человечества, вынудили перенапрягать умственные и физические силы на данном отрезке времени в истории человечества...

- Но войны и напряженность были раньше в разное время, они не всегда вызывали такой бурный прогресс науки и техники.

- Войны войнам рознь. Такого перенапряжения, как за последние десятилетия, человечество еще не переживало. Пресс оказался тяжелым, болезненным. Он нарушил гармонию развития. На войне выбиты не только взрослые мужчины, но и те поколения людей, которые должны были от них произойти. А трагедия вдов? Сирот?! У меня бывает очень горькое чувство, когда я вижу брошенные деревни, их умирание, - это они, последствия войны, прежде всего сказываются. Не легче и от зрелища современной стандартизации городского быта. В этом смысле потрясающее впечатление производит большой город. Поезд, на котором я приезжал из Вологды в Москву, приходит рано утром. Подъезжаешь к столице и видишь огромное скопление домов, похожих на молчаливые стада. В серых сумерках они сливаются в сплошные бесконечные массивы. В темных проемах окон изредка сверкнет огонек, напоминая о том, что огромные эти квадратные глыбы есть человеческое жилье. Почему-то сжимается сердце; "Если зажгли огонек, значит, кто-то не спит, кому-то плохо, может быть, кто-то умирает, а рядом, за другими окнами, спят люди, равнодушные к чужому несчастью, равнодушные к этому зажженному огоньку..." Я понимаю, что все может быть совсем не так, но от действительности ведь никуда не денешься.

Процесс технизации и постепенного уравнивания города с деревней в смысле быта, благ цивилизации будет продолжаться. Настораживает господство стандарта и, как производное от него, - бездушие. Не будет ли оно проникать из быта в области более чувствительные - скажем, в творчество, в литературу и искусство? Ведь кое-какие признаки этого мы уже имеем, хотя бы в бездушном, если не безмозгом, отношении к той же природе, да и в искусстве уже есть примеры.

- Например?

- Ну, хотя бы взять последнюю, так нашуевшую пьесу Бокарева "Сталевары", где человеческие чувства, страдания, радость и горе подменены производственной "схваткой", которая по напряжению и злости, лукаво именуемой ныне "накалом страстей", напоминает, извините, не мирные дни и не граждан одной страны, а нечто из того, чему я был свидетелем на фронте. Вообще странная, если не страшная, вещь, когда, чуть устроив свой быт, наевшись досыта, мы позабылись и начали взвинчивать посредством слова и искусства себя и свое общество: идет не просто уборка урожая, а "битва за хлеб", лохматые мальчишки с роскошными бакенбардами под ноющие гитары не просто поют, а "идут в наступление", рабочие на заводе не просто варят сталь, а "сражаются" за нее. Мелькают слова мимоходом, играючи брошенные; "В разведку с ним не пойду", иль: "пойду", "до последнего дыхания", "умереть", "страдать", "драться", "эскадроны", "погоня", "сабли", "пулеметы", "роты", "бригантины", "заветные гавани"...

Такими вещами баловаться нельзя! Они не предмет для суесловия и телеселья. Нам, еще не до конца изжившим трагедию войны, потерявшим двадцать миллионов, забываться грех особенный. Еще болят наши раны, еще грусть берет, как вспомнишь, что, дойдя до истинной битвы, до рот, до пулеметов, мы пели о заветном "огоньке", про "синенький платочек", даже "черные ресницы, черные глаза" поминали и бредили миром. Неужели мало наших страданий и горя нашего?! Не забывайтесь, люди! Забывчивость дорого стоит!

- Виктор Петрович, я слышал, что будто бы большинство писем на "деревенский" "Последний поклон" вам приходило от городского, часто интеллигентного читателя? Не отражается ли в них тяга к первооснове жизни, к истокам, так сказать? Или, может быть, некоторая усталость от городской цивилизации, от напряженного ритма жизни в современном городе?

- Мне написала одна умная женщина из Ленинграда: "Мы с мужем получаем приличную зарплату. На работу я хожу как на праздник, с модной укладкой, хорошо и модно одетой. Муж тоже всегда элегантен, при галстукке. Ребенок разнаряженный ходит в детский сад. Все хорошо, правильно, за то, как говорится, и боролись. Но когда я прочитала "Последний поклон", невольно присмотрелась к своему ребенку и заметила в нем явные признаки эгоизма. Мне стало не по себе. Не утрачиваем ли мы какие-то первородные чувства, которые свойственны Вашим героям? Ведь это они помогли Вам написать такую книгу, любовью воскресить родных и близких... А какова-то будет любовь к людям у наших детей? Уж есть случаи, когда образованные, "гуманные люди" не приезжают на похороны отцов и матерей, дабы не травмировать себя, отделяются сочувственными телеграммами и деньгами - "на поминки".

Читательница пишет также об этом "проклятом телевизоре", к которому



Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

подсаживаются даже гости, вместо того чтобы общаться друг с другом, петь песни, смеяться, веселиться. Она написала фразу, которая меня очень тронула и взволновала: "Я на судьбу не ропщу. Муж меня любит, я его тоже. Родители мои были хорошие люди. Но я все-таки поняла, что жизнь меня обделила - у меня не было сельского детства, бабушки, а значит, - это я поняла после прочтения Вашей книги - не было и детства". Может быть, в этих словах и есть крайность, но для меня бабушка действительно была главным духовным наставником, хотя и за уши тягала, и прутом порола, чтобы не лазил в чужой огород и не разорял птичьи гнезда.

- Не считаете ли вы, что одной из главных задач, которые стоят сегодня перед обществом и, стало быть, перед литературой, стоит задача сохранения и упрочения нравственных традиций народа? И что вы можете сказать о так называемой "пришвинской традиции" в нашей литературе, не исчезает ли она, не теряет ли свое значение в сегодняшнем, индустриальном мире?

- Вопрос настолько сложный и емкий, что не только журнальной беседы, может, остатка жизни не хватит на то, чтобы на него ответить и докопаться "до корней". Нам все-таки надо твердо и прямо установить сначала, что есть нравственность в нынешнем понимании нынешнего человека. В связи с тем, что современный человек отошел, или, точнее, отгрелся от берега, на котором стоит церковь и вера в Бога, прибил ли он к другому берегу? Если прибил, что нашел там? Какие идеалы? Какую веру? Туману бы поменьше, ясности бы побольше в самом толковании нравственности. Есть уже теоретики, пытающиеся сблизить два берега - веры и безверия. Вот уж тут могу с уверенностью утверждать - в такой подтасовке проку нет и не будет. Наша блистательная литература, наши Печорины, Рудины, Онегины уже доказали своим, так сказать, "жизненным примером" бесплодность и невозможность такого сближения; "мы с тобой два берега у одной реки", как, ничтоже сумняшеся, продекламировал современный поэт, и добавлю от себя: берега эти разделены не одной только водой, но и опытом жестокой истории.

Ну а что касается "пришвинской традиции", то пока живы выходцы села, "дети природы", до тех пор она, эта "русская традиция", наша извечная, отечественная, будет жива и даст миру еще немало чистых и светлых строк и музыки. Евгений Носов, Юрий Куранов, Сергей Залыгин, Василий Белов, Василий Шукшин, Валентин Распутин, Федор Абрамов, Вячеслав Шугаев, Юрий Гончаров, Михаил Алексеев, Сергей Воронин, Виктор Потанин, Василий Юровских, Владимир Солоухин и ряд других писателей не только не дают затихнуть и загаснуть этой традиции, они ее обновляют - многого достигла наша лучшая проза. Хорошо, чисто, высокопрофессионально пишут названные мною писатели и оказывают своей работой благотворное влияние на молодую прозу.

- Критика заметила, что в последнее время герой молодой прозы в отличие от эгоцентрического молодого бунтаря пятидесятых-шестидесятых годов обращается к социальному и нравственному опыту своих предшественников. Что вы на это скажете?

- Я постоянно читаю произведения молодых, как уже говорил, много времени на это убиваю. Недавно мы в "Нашем современнике" провели заседание редколлегии, специально посвященное работе с молодыми писателями. Только что вернулся из Иркутска с зонального совещания молодых писателей, и есть некоторые основания сказать, что сегодня молодые быстрее становятся мужчинами, чем некоторое время назад. Они в чем-то даже идут впереди нас. Как я уже говорил, некоторые из нас убивали время на профессиональную подготовку, на образование, а у них все это начинается чуть ли не с пеленок, они с детства знают музыку, театр, кино, имеют свои библиотеки словом, впитывают в себя современную культуру естественным путем, без помех, наоборот, все вокруг способствует их росту. И, несмотря на это, биография у некоторых из них довольно интересная, трудовая. Поэтому проза имеет хорошее наполнение. Я могу назвать некоторые имена: это Александр Филиппович, Валерий Макшеев, Анатолий Василевский, Михаил Голубков, Вячеслав Сукачев, Евгений Суворов. Они разные, но все с характером, со своим видением жизни, с чувством собственного достоинства. Настораживает, правда, некоторая "привычность" тем, избранных молодыми, мало дерзости, выдумки, самостоятельности, не говоря уже о самобытности. Ощущается стремление к "благополучной жизни" в литературе.

- Виктор Петрович, я не считал бы нашу беседу законченной, если бы не задал вам очень трудного, очень сложного вопроса, который, может быть, еще не стал так остро на повестку дня нашей критики, но который, как мне кажется, непременно

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
будет, должен горячо заинтересовать всех причастных к литературе людей. Я имею в виду вопрос о философской значимости литературы, о том, как развивается в наши дни эта великая традиция русской литературы?

- Вопрос поставлен довольно общо. Мне легче будет попытаться ответить на него, опираясь на практику, на свой опыт, хотя делать это и не совсем этично, однако так будет "доказательней". Мне кажется, что у нас есть категория редакторов, которые настороженно относятся ко всякой философичности. Сошлюсь на судьбу своей повести "Пастух и пастушка". Она прошла редакции почти всех московских и ленинградских журналов. Во всех письмах из всех редакций мне предлагалось что-то конкретизировать, что-то уточнить, а вернее, упрощать, разжевывать. Предметное, вещественное изображение в нашей литературе принимается спокойно, и потому в изобразительности наша литература достигла огромных успехов. Почитайте, например, прозу Михаила Алексеева, Юрия Нагибина, Георгия Семенова, Бориса Можаяева. Я понимаю, инерция настороженности к условностям и сложному письму идет от лакировочной литературы, которая принесла нам столько вреда, что...

- Но лакировочная литература не претендовала на философичность, и условность ее была скорее от прекраснотушия, от забегания вперед, нежели от жизни.

- От криводушия и приспособленчества она была, чего уж там тратить "ученые" слова на такого рода литературу, затормозившую развитие доподлинной литературы, а значит, и мысли. Гнилоротое ее дыхание, кстати, ощутимо до сих пор, потому никаких она добрых слов не стоит!

Трудно, с издержками мы преодолеваем ее, сбрасываем с себя путы заданности, ложной и спекулятивной идейности, ура-патриотизма и того сочинительства, когда каждый имеющий время и грамоту мог писать на потребу дня хоть стихи, хоть романы, хоть драмы. Вспомните-ка хотя бы пьесы так называемого драматурга Сурова!

В современной прозе жизнь трудная, если работать по-настоящему. Все большее значение приобретают в ней символика, условные, а значит, сложные формы. Вы посмотрите, например, на работу Залыгина - "суровый реалист" вдруг пишет фантастическую повесть, следом психологический роман. Он не ищет, не хочет спокойной жизни, этот художник; сложно живет, сложно работает Владимир Тендряков, автор шибко запальчивый, весь взъерошенный современной мыслью, движением ее, он стремится нащупать не только философию жизни, но и проникнуть в смысл оной. Чтобы выразить философию нашего времени, философию подвига, человеческой жизни, любви, смерти - мало одних рассуждений на эти темы, необходимо дать знак, символ, образ, что в буквальном переводе с греческого означает идею. Да как-то умудрились подзабыть первооснову этого слова, упростили смысл его, смешали со словесной мякиной громких патетических слов, кои так же близки ему, как "в огороде бузина, а в Киеве дядька"...

В "Пастухе и пастушке" я стремился совместить символику и самый что ни на есть грубый реализм. Меня некоторые упрекали за образ немца, где, мол, такого видел? Не знаю. Сам, возможно, я видел его во сне, возможно, наяву. Здесь мне важны детали, важна мысль. Этот немец - олицетворение дикости человеческой. Вот если бы я написал его с низким лбом, редкими зубами, тонко поджатыми губами, в каске - уверен, никто бы слова не сказал. Действует привычка к стереотипам. Но мне такой немец неинтересен, такого я уже видел у других писателей и повторять их не хочу.

- Насколько известно, "Пастух и пастушка" далась вам нелегко. Я помню, как вы читали четвертый вариант повести в переделкинском Доме творчества, это было лет шесть назад.

- Четырнадцать лет я носил в себе эту маленькую повесть, несколько лет писал и переписывал. Недавно, после четырех изданий, переписал снова.

- Значит, эта вещь дорога для вас? Чем же?

- Мне кажется, в "Пастухе и пастушке" я преодолел сам себя, традицию, самим себе созданную. Понимаете, школа нас приучила к упрощенному пониманию традиций. При нынешнем уровне культуры и образования, я думаю, не так уж трудно изобразить в повествовании деревню, бабушку, как в "Последнем поклоне", что сейчас охотно и в большом количестве делается. Мне же хотелось сказать нечто большее, чем добрым

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
словом вспомнить малую родину. Война – событие грандиозное по своим историческим масштабам, требуются иные подходы, иная выразительность, иное философское наполнение в изображении и осмыслении такого события, и даже смелость в том, чтобы взяться за военную тему, самостоятельно, не эпигонски – эпигону никакой смелости не надо, ему усидчивость требуется. Преодолевая свою традицию в "Пастухе и пастушке", я в то же время возвращался к каким-то очень дорогим традициям отечественной литературы, в частности к толстовской традиции. В кульминационной сцене любви я, помню, написал слово "милая". И задумался. Сколько раз это слово повторяется всуе! И вот, перед тем как добавить к слову "милая" слово "моя", написал целый абзац. Я двадцать лет учился тому, чтобы разделить эти слова, чтобы меж ними написать целый абзац, и наконец рискнул это сделать. Думаю, что и от этого зависит наполнение прозы, ведь не выставишь же между этими словами пустой ряд слов, надо, чтобы читатель не пропустил, не пробежал эти центральные, что ли, в повести строки по диагонали, а прочитал внимательно весь абзац, даже, может быть, задержался на нем.

– Не противоречит ли это тенденции к лаконичному стилю?

– Некоторые теоретики считают, что надо писать как Хемингуэй короткими репликами, короткими фразами. В свое время была даже дискуссия о телеграфном стиле. Я не хочу опровергать ни теории этой, ни тем более практики. Каждый пишет сообразно своим внутренним возможностям и, стало быть, законам. Что же касается философской мысли в прозе, то умение размышлять считалось и считается непременным признаком таланта. Толстой, кажется, говорил, что писатель должен ориентироваться только на самого умного читателя. По письмам, которые я получаю от читателей, можно судить, насколько он поумнел и помудрел. Пишут, например, о "Пастухе и пастушке" и такие тонкости подмечают и понимают, что не только диву даешься, но и бояться начинаешь за свою работу, думаешь о том, чтобы не отстать от читателя, чтобы оказаться достойным его.

– Что означает нынешняя тяга к гуманитарным наукам, которую в последние годы отмечают социологи?

– Нежелание ломить физическую работу, трудиться на производстве. Многие юноши возмечтали быть артистами, поэтами, циркачами да музыкантами, соблазняясь "сладкой жизнью" актеров, писателей, кинорежиссеров и т. д. Не верите мне? Сравните тогда конкурсы ВГИКа, театральных студий, хорошо вам известного Литинститута с любым промышленным вузом. А опросы школьников старших классов трудового города, давшие такой безрадостный результат? Пять процентов желающих трудиться на производстве, остальные устремлены к "роскошной жизни" творческой и технической интеллигенции! Думаю, такой наплыв в литературу и искусство происходит не только "от ума" и дезинформации о нашей жизни, но от того, что упростилось многое в музыке, в литературе, в живописи, общедоступной сделалась "массовая культура", можно петь уже без голоса, писать без таланта, рисовать "условно", чаще всего под детей, снимать фильмы без профессиональной одаренности и подготовки. Такое невинное вроде бы приобщение к искусству развращает людей, делает их жалкими побирушками около театра, кино, литературы, а чаще напористыми, "все знающими и все умеющими" шарлатанами. Думаю, что большое количество плохих и посредственных фильмов и книг, где вроде бы "все путем", все как надо, но не волнует, вызвано как раз тем, что много балласта, мешающего двигаться вперед, нагрузилось на корабль с названием "художник".

– Не поубавилось ли романтизма, мечты в нашей прозе?

– Ну как не поубавилось? Слава Богу, меньше стало "туманов и шорохов тайги", за которыми едут то на целину, а то и того дальше. Как я говорил уже, проза сделалась серьезной, толкует она о вещах серьезных: о сути человеческой жизни, о нравственном ее начале. Тут уж никакие "туманы" не помогут, тут талант и серьезная работа нужны. Я, разумеется, о ложном романтизме толкую, о том самом, где стилизация "под народность", слащаво-песенная настроенность на "дальние дороги", на "огни маяков", на "белых лебедей" и на "березки" и "дальние миры", а также на "суровую любовь" и прочая выдают себя за "романтизм и мечту". Но вспомните сейчас, что осталось от косяков "романтических" повестей, рассказов и романов о целине? Рассказ "В бессонную ночь" Сергея Никитина, "Аленка" Сергея Антонова. Перечисляйте дальше сами, если сможете, а у меня ничего больше в памяти не задержалось.

Время – суровейший судья! Для меня, может быть, самая "романтическая" из книг

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)  
последнего времени – "Горячий снег" Юрия Бондарева, хотя нет там ни "маяков", ни "лебедей" и ни "дальних путей". Но бьется там, трепещет среди смертей и горя жажда мира, мечта о любви, о Родине и обо всем, что есть прекрасное в жизни. Кстати, отголоски ложного романтизма то и дело дают о себе знать. Так, сюсюкающе–"романтическую" повесть Сергея Пистунова "Белая птица-лебедь" недавно напечатал журнал "Молодая гвардия", а мы в "Нашем современнике" выдали на-гора еще более "романтическую" повесть Владимира Солоухина "Прекрасная Адыгене". Вслушайтесь только в названия! Уже в них что-то фальшивое есть, приторно-паточное.

– Что вы можете сказать о сегодняшней прозе о войне и каковы ваши планы на этот счет?

– Вы заметили, что реже стали появляться произведения о войне? Особенно объемистые? Трудней стало писать о войне, потому что появились настоящие о ней книги. Думаю, дальше будет еще труднее и сложнее писать о войне. Время, расстояние, память человеческая, истинная память, не подмена ее сочинительством, ответственность перед будущим – вот что, на мой взгляд, заставляет относиться к этой теме с повышенной строгостью. Писатели военного поколения стали старше и мудрее – они есть пока главный и основной критерий в работе следующих за ними писателей, разумеется, опять же талантливых писателей.

По этой же причине роман о войне, написанный мною начерно, лежит в столе, ждет своего времени, то есть когда я наберусь сил, мужества и умения, чтобы одолеть его. А пока я пишу заметки, кусочки, какие-то соображения, чтобы засесть за небольшую, давно выношенную повесть о войне. Есть в замысле и рассказы. Что бы мне хотелось видеть в прозе о войне? Правду! Всю жестокую, но необходимую правду, для того чтобы человечество, узнав ее, было благоразумней.

– Немного найдется писателей, которые бы остались довольны критикой, не высказывали бы в ее адрес критических, иногда язвительных реплик. Как вы относитесь к критике и какую роль она сыграла в вашей литературной судьбе?

– Мне на критиков грех обижаться. Критика всегда была внимательна ко мне, хвалила, даже перехваливала мою работу. Но хвалы, хоть они и ласкали мою душу, я до конца всерьез не принимал, к критикам же относился как к младшим братьям и никогда их "не бил по голове". От этого, наверное, и был у меня другом покойный Александр Николаевич Макаров. С вами вот давно дружеские отношения, и другие критики со мной здороваются, жалеют меня, а я их пуще того. Жизнь у вашего брата трудная, и хлеб ваш часто горек из-за непонимания труда вашего.

После читинского семинара шли мы целой бригадой по далекому-далекому городку Красный Чикой, что находится почти на границе Монголии. Повстречался нам шишкарь – ну, это человек, который кедровые орехи добывает – остановился и спрашивает: "Это правда, что вы – писатели?" Правда, говорим, и стали представляться шишкарю. Когда дело дошло до Николая Николаевича Яновского, шишкарь, будто тигру узрев, воскликнул: "Критик?!" и, сурово оглядев с ног до головы милейшего, застенчиво улыбающегося Николая Николаевича, спросил у нас строго-деловито: "Так что же вы его не бьете?!"

Шутки шутками, а что-то ведь есть в отношении к критикам от того простодушного чикойского шишкаря и среди нашей писательской братии, и в общественности тоже. Пока "служит" критик, раздает в качестве официанта "сладкое" – ничего, терпимо. Но стоит ему "покритиковать", да еще писателя маститого, – тут и кончилась его нормальная жизнь, свои же братья критики навалятся на него, изволтузят, да еще неучем, полудикарем выставят. Благородства бы, благородства побольше в отношении критиков друг к другу в частности и всей нашей литературе вообще.

– И самостоятельности!

– Да! И самостоятельности. Сколько ни толкуем о том, что критика не есть "слуга литературы", она все же тащится следом за нею с подносом, а ей ведь надлежит, как это уже было в прошлом столетии, "во времена Белинского, Добролюбова, Писарева и Чернышевского", даже опережать мыслью время свое. Никак это у нас не получается, все еще оценочно-рецензентская в своей массе наша критика, не хватает ей, как мне кажется, зрелости, нет в ней большого авторитета, то есть все того же Белинского. Но есть предчувствие, что критика наша если не стоит на пороге, то приближается к серьезному осмыслению художественных процессов, а

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru) следовательно, и жизни. Свидетельство тому – ряд серьезных теоретических работ и статей, появление критических журналов, книг и даже серий, подобных тем, что издает "Современник" и "Советская Россия", количественное внимание к критике не может не перейти в качественное, во всяком случае, желательно это, и поскорее бы, – уж слишком огромно наше "литературное хозяйство", и ему "без присмотра" никак не возможно существовать и двигаться дальше.

– Приходилось слышать, что в новых главах "Последнего поклона" вы слишком жестоки и откровенны. Как вы относитесь к этим суждениям?

– Сами читатели, отклики их и довольно дружная хвалебная критика насторожили меня: что-то уж больно благодушно там у меня в "Последнем поклоне" все получается, пропущена очень сложная частица жизни. Не нарочно пропущена, конечно, так получилось. Душа просила выплеснуть, поделиться поскорее всем светлым, радостным, всем тем, что так приятно рассказывать. Ан в книге, собранной вместе, получился прогиб. фраза: "Началась такая жизнь, что и рассказывать о ней не хочется" – ни от чего не избавила. Душевный груз, память тревожили, беспокоили, требовали высвобождения. Поездки на родину, обновление воспоминаний, взгляд на нынешнюю действительность не способствовали ни телячьей радости, ни прекраснотушью трудная и тревожная все же жизнь идет, и она напомнила о временах еще более трудных и тревожных. Я не считаю новые главы жестокими. Если на то пошло, я даже сознательно поубавил жестокости из той жизни, которую изведаль, дабы не было "перекоса" в тональности всей книги. Думаю, что, когда новые главы встанут в ряд с другими рассказами, все будет в порядке. Мне видится книга не только более грузной по содержанию и объему, но и более убедительной, приближенной к той действительности, которая была и которую никто, а тем более художник, подслащать, подлаживать и нарумянивать не должен – нет у него на это права.

1974

Помолимся!

Ответы на анкету ко Дню Победы

Лишь первый День Победы, будучи после госпиталя в городе Ровно, в какой-то убогой нестройной части, я встретил с восторгом и радостью. Вся последующая жизнь не располагала к радостям. Год от года День Победы для меня становился все горше и печальней – постепенно открывалась страшная правда войны, все ясней, наглядней проявлялись ее последствия. Руководство нашего государства и армии не зря ведь не объявило наши потери во время войны. Они столь огромны и удручающи, что даже при наличии такого огромного, находчивого, бюрократического аппарата счастье их невозможно, исказить – это пожалуйста. Объявлять народу о потерях страшно – сразу делается совестно себя хвалить и прыгать в праздничном хороводе, бряцая разноцветными медальками. Думаю, это – единственная война в истории человечества из пятнадцати тысяч войн, в которой потери в тылу намного превышают потери на фронте. Так сорить своим народом могли только преступники. Английский писатель Честертон в одной из своих статей заметил, что все победители в больших войнах в конце концов становились побежденными. Отечество наше дало наглядный пример этому умозаключению: десятки тысяч пустых сел (основных поставщиков рядового состава), надлом общества, несколько больных поколений подряд, больных не только физически, но и нравственно, расправа над народом, начавшим прозревать и грозно ворчать, прежде всего над теми, кто побывал "за бугром", увидел воочию, что живем мы и работаем хуже "их", хотя от работы у нас хребет трещит. Я не имею в виду только тех, кого из плена в плен препроводили, уморили в сталинско-бериевских концлагерях, то есть военный люд. Бедных вдов можно было добить непосильными налогами, уморить голодом, dokonать бесправием, сделать крепостными в самом "свободном" государстве.

Двадцать лет никто не вспоминал о нас – фронтовиках, никто не помогал нам, всюду нагло заявляли: "Все воевали – и ничего!" А через двадцать лет вдруг с умилением запели: "Славься!", медальки отлили, брежневскую "паечку" вырешили, позволили без очереди в больницу ложиться и билет покупать. "Спасибо партии родной – дала по баночке одной!" – самолично слышал я песенку инвалида войны в инвалидном закутке магазина. Он пел про "баночку" вполне серьезно, ибо и она для него сделалась благом, и любое внимание вбивало инвалидов войны в умиленную слезу: как же, вот вспомнили, вознаградили по заслугам.

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Нашим великим партдеятелям и в голову не приходило, что они остатки победителей (страшно подумать, сколько их поумирало сразу после войны, с улиц же через десять лет исчезли инвалиды) превратили в кусочников и крохоборов, на которых рычал, а то и замахивался остервеневший в очередях, все еще тупо дожидющийся благ и улучшения жизни народ.

Недавно мелькнула цифра: в нашем огромном крае на январь 1980 года осталось чуть больше десяти тысяч инвалидов войны. За полгода она, естественно, убыла, и я призываю своих собратьев по окопам, невзирая на ранги, не кривляться в горький День Победы на площадях и в питейных шинках, не плясать, не петь "бравых" песен - все это давно уже выглядит кощунственно, а пойти и помолиться за души убиенных на поле брани братьев своих.

Кому от погостов близко, у кого еще есть ноги, шевелятся руки прибрать заброшенные могилы участников войны да и одиноких несчастных вдов наших. Ведь до сих пор еще во многих местах не убраны косточки наших братьев (в Германии, и в Западной Германии - тоже, все могилы и своих, и наших солдат ухожены).

Во время празднования 1000-летия Крещения Руси в Новгороде я разговаривал с командиром молодежного отряда и с новгородскими парнями, занимавшимися собранием и захоронением убитых в Мясном бору воинов (а там погибло две наших армии). Захоронили за лето пять тысяч трупов, укладывая по четыре скелета в одну домовину (сюжет с захоронением этих костей показывали по Центральному телевидению). Так вот, командир отряда сказал, что ежели убирать трупы такими темпами - только в Мясном бору хватит работы еще на двадцать лет!

Нет, не только порохом пропах этот день...

Братья мои! Бойцы самой Великой и самой страшной войны! Наденьте чистые рубахи, не пейте горькую до потери человеческого облика в этот и без того скорбный день, повспоминайте, помолитесь, кто еще не разучился молиться, не разучился уважать себя и тех, кто спит вечным сном в земле или неприятно, сиротски валяется по лесам и болотам нашей необъятной родины, с большим опозданием, с позором, со стоном вспомнившей о таких утраченных, святых словах, как милосердие и любовь к ближнему своему.

О молодежи я имею очень отдаленное представление, но вижу, что она бродит, ищет свою долю и не хочет повторять нашей рабской судьбы. Исполать ей!

Никогда не думал ни о каком читателе, как вероятно, мои земляки, возившие швырковые дрова на красноярский базар, мало думали о том, кто ими обогреется и в какой печи сожжет. Я тоже выпускаю свою "продукцию", не прицеливаясь и не прицениваясь к "покупателю". Судя по письмам, читатели у меня есть и в городе, и в деревне, читатели стоящие, что меня, конечно, радует и помогает, пышно говоря, в труде.

"Книга памяти" и вообще всякого рода юбилейные издания, статьи - у нас носят казенный характер. Издатели из кожи лезли и лезут, чтоб было в этих книгах все "идейно", а уж насчет правды и заинтересованности думать времени не оставалось. Такие вот жестокие стихи окопного землеройки, написанные зимою 42-го года тех "памятных", ни за что бы не печатали и не напечатают.

Мы на шарике пустом,

Мы на шарике земном.

Под мороженым листом

В землю брошены зерном.

Ах, какой холодный шарик!

Под рубахой ветер шарит,

Снег не греет, смех не греет

Греет зуд, собачий зуд:

Астафьев Виктор Да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Вши от холода звереют

Кости мерзлые грызут...

Ну вот и добились неизбежного результата: благостно- умильные, юбилейные издания почти никто не читает. И правильно делают люди, добавлю я от себя, очень правильно.

Зачем дорогое время понапрасну терять и запудренные мозги еще больше пудрить, лучше снять с полки книгу классика и сотворить праздник для души.

Моя книга о войне находится в стадии черновика.

Я заметил: утомленные и раздраженные наши читатели, живущие трудной жизнью, в бесконечной и жуткой борьбе с нуждой, быстро утомились и "лагерной" литературой. Навидавшиеся страшного в повседневной жизни, они еще больше начали тупеть и глохнуть от этой "лавины", и как это случалось уже не раз с усталыми, растерзанными нуждой людьми, читатели наши непременно потянутся к мелодраме, к сусальненько-сексуальному, бездумному.

Читателям непременно захочется сладенького, красивой сказочки, чтобы забыться, уйти от жуткой, давящей действительности.

И они получают то, чего жаждут. В искусстве всегда было достаточно угодливо расшаркивающихся "творцов-официантов" - "что изволите?".

И наши музыка, кино и театр в готовности своей потрафить публике опередили даже такую, наторевшую в угодничестве, литературу, как современная советская.

Роман В. Гроссмана "Жизнь и судьба" - книга сырая, незавершенная, рассудочная. Судя по блистательно написанным кускам в гетто, она действительно обещала сделаться той книгой, за которую поспешила ее выдать определенная часть нашей критики и писателей, убеждая доверчивого читателя в том, что это "выше Льва Толстого".

Но словоблудием нас не удивишь и не очаруешь, раз прочитанного Толстого можно помнить и пересказывать всю жизнь.

Из романа Гроссмана, прочитанного год назад, не помню ничего, хотя на память до сих пор не жалуюсь, а замечательный рассказ "Тиргартен" того же автора, прочитанный в шестидесятых годах, помню и по сей день.

Закончить беседу мне бы хотелось стихотворением Николая Панченко, того самого, что я уже вспомнил в начале беседы. Это стихотворение написано в 1944 году.

Душа завязана узлом,

и не прямь, а бабьим,

Торчат неведомо куда короткие концы

Давно мы не работаем и вроде как не грабим

Но день и ночь жуем и пьем

Бездомные юнцы.

За что же кормишь ты меня и балуешь любовью

Ободранная, нищая, голодная страна?

Я начинаю понимать, что кровью, только кровью!

за этот пир, за этот спирт

Заплачено сполна.

1985

Астафьев Виктор да пребудет вечно [astafevvictor.ru](http://astafevvictor.ru)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!